

СИБИРИАДА

НИКОЛАЙ
САМОХИН



Рассказы
о прежней жизни

Сибиряда

Николай Самохин
**Рассказы о прежней
жизни (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1985

Самохин Н. Я.

Рассказы о прежней жизни (сборник) / Н. Я. Самохин —
«ВЕЧЕ», 1985 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4484-8018-8

Книги сибирского писателя Николая Самохина, выходявшие довольно регулярно как в Новосибирске, так и в Москве, до прилавков книжных магазинов, как правило, не доходили, в библиотеках за ними выстраивались очереди, а почитатели его таланта в разговорах нередко цитировали наиболее запомнившиеся фразы, как цитируют до сих пор реплики из замечательных советских комедий. В этом издании собраны все повести, написанные Николаем Самохиным, образуя единое целое, своего рода роман – талантливый, честный, вызывающий полное доверие к автору и к его героям, над судьбами которых то плачешь, то смеешься.

ISBN 978-5-4484-8018-8

© Самохин Н. Я., 1985

© ВЕЧЕ, 1985

Содержание

Круг судьбы Николая Самохина	6
Рассказы о прежней жизни	8
Вместо предисловия	8
Три рыжих коня	11
Про деда Дементия и его семейство	15
Один день из жизни села Землянки	20
История про черного кобеля	23
Как Гришка ходил на войну и что из этого вышло	29
Смерть деда Дементия	34
Еще один день из жизни села Землянки	37
Туда, где тепло и сытно	41
Вчера, сегодня, завтра	45
Где-то в городе, на окраине	49
Речка, которую я никогда не видел	49
Моя первая улица	55
Семейное окружение	60
Войны и междоусобицы	67
Школа	76
Любовь: первая, вторая и так далее...	90
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Николай Яковлевич Самохин

Рассказы о прежней жизни

© Самохин Н.Я., наследники, 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Круг судьбы Николая Самохина

Редкому писателю, особенно живущему в провинции, выпадает при жизни слава и читательская любовь. Нет, не подумайте о современных литературных премиях, шумихе в интернете и прочих атрибутах нынешнего успеха. Совсем наоборот. Не было, по большому счету, ни премий, ни хвалебных рецензий, ни многочисленных интервью по поводу и без оно, зато имелось значительно большее, а именно – читательская любовь и слава.

Сибиряк Николай Самохин в этом отношении был счастливым автором. Книги его, выходявшие довольно регулярно, как в Новосибирске, так и в Москве, до прилавков книжных магазинов, как правило, не доходили, в библиотеках за ними выстаивались очереди, а почитатели его таланта в разговорах нередко цитировали наиболее запомнившиеся фразы, как цитируют до сих пор реплики из замечательных советских комедий.

Может быть, это прозвучит пафосно (сам Николай Яковлевич пафоса не любил), но я все-таки убежден в том, что он был народным писателем. И не потому, что стремился таковым быть или старался подстроиться под читательские вкусы, а потому, что произведения его диктовались исключительно собственной судьбой. Он никогда не фантазировал и не «сочинял», он всегда шел от реальной жизни, той самой, какой ему самому и его героям довелось жить. Полугодное военное и послевоенное детство на окраине шахтерского городка в Кузбассе, на улице Аульской, институт, романтика шестидесятых годов, журналистика, первые рассказы, первые книги, работа в редакции журнала «Сибирские огни» и собственным корреспондентом «Литературной газеты» – все это становилось его личным опытом, и он всегда оставался ему верным. Николай Самохин писал лишь о том, что знал доподлинно, что видел своими глазами, а в итоге оказывалось, что он писал о многих и многих людях, своих современниках, которые так искренне и горячо отзывались на его творчество.

Он писал, если так можно выразиться, не придуманную жизнь – такую, какой она и была во всей простоте и сложности. «Своей держался – угловатой, неподрумяненной строки», – это из его стихотворения. Ключевое слово здесь – «неподрумяненной». Николай Самохин ничего не хотел и не желал приукрашивать, даже тогда, когда от него этого требовали. Упорно стоял на своем. И вспыхивал, сердито и даже яростно, когда сталкивался с ложью, с хитростью, с обманом – со всеми этими «румянами», каковых имелось в избытке. Друзья в шутку называли его «очернителем». На самом деле никакого очернения не было и в помине, иное всегда двигало им – страстное желание справедливости и честности.

Таковыми же были и его герои, по большей части не придуманные, а реальные люди. И вот к ним, казалось бы, приземленным, святым и грешным одновременно, Николай Самохин возвращался вновь и вновь. Впрочем, он сам написал об этом в предисловии к одной из своих книг: «Но, как видно, сама по себе жила еще и растревоженная память. И она подсказывала, что там, в “стране детства”, на окраинной моей при заводской улочке, босоногий, полугодный мальчишка был не единственным и не главным героем. Там бедовали вдовы, стучали костылями фронтовики, ютились эвакуированные. Там жили мои отец и мать... И тут, наконец, пришла догадка: выходит, все эти годы я писал не разные и совершенно самостоятельные вещи... а как бы продолжал главы одной и той же книги... То есть путешествовал по кругу, опять и опять возвращаясь в прошлое – чтобы послушать рассказы отца-солдата, побыть с матерью, всмотреться в дорогие мне лица, постоять на берегу все той же речки-замарашки».

Сейчас, когда все повести, написанные Николаем Самохиным, оказались под одной обложкой, совершенно очевидно, что это единое целое. Своего рода роман – талантливый, честный, вызывающий абсолютное доверие к автору и к его героям, над судьбами которых то плачешь, то смеешься. К слову сказать, самохинский смех или, точнее, самохинская усмешка – это прямое продолжение гоголевской, шукшинской традиции, когда смех рождается из жизни,

из обстоятельств, а не из желания автора во что бы то ни стало рассмешить. После такого смеха порою смахнешь слезу и задумаешься. И сразу же выключишь телевизор, на экране которого пыжатыся, соревнуясь в пошлости, современные юмористы.

Как всякий талантливый и душевно щедрый человек, Николай Яковлевич со вниманием и неподдельным интересом относился к молодым авторам: читал рукописи, руководил семинарами молодых и умел радоваться чужим успехам. Не был обделен таким вниманием и автор этих строк, о чем всегда с благодарностью помню. Как помню и его слова, сказанные на берегу степной речушки в одном из отдаленных районов Новосибирской области, куда мы приехали на встречу с читателями. Встреча состоялась, времени до отъезда оставалось еще много, и Николай Яковлевич загорелся: пойдём, порыбачим! (Рыбак он, надо сказать, был отменный.) А чем рыбачить? Удочек-то нет! Решили постучать в первый попавшийся дом. Раз он на берегу реки стоит, значит, и удочки должны иметься в наличии. Вышел немолодой уже хозяин, пристально, даже слегка подозрительно, оглядел нас и вдруг заулыбался, широко распахнул калитку:

– Проходите, я квасу вам налью, и удочки после дам, и скажу, где червей накопать.

Провел в дом, усадил за стол, налил квасу, а сам подошел к этажерке, на полках которой стояли книги, накрытые вышитыми салфетками. Быстро взял одну из них и положил на стол – Николай Самохин «Сходить на войну».

– Это ты не про своего отца написал, а про моего. Один в один. Третий раз перечитываю – все правда.

Позже, когда мы уже сидели на берегу речушки с удочками, Николай Яковлевич, задумчиво глядя на неподвижный поплавок, вдруг сказал:

– Знаешь, старик, а иногда вот здесь тепло бывает...

И приложил к груди руку.

Больше он ничего не добавил, но я его прекрасно понял.

Пусть будет тепло «вот здесь», в районе неравнодушного сердца, и у читателей книги «Рассказы о прежней жизни».

Михаил Щукин

Рассказы о прежней жизни

Вместо предисловия

Мой отец был великолепным рассказчиком. Не то чтобы он здорово владел словом. Нет. Речь его скорее была бедна. Но отец так умел помочь себе руками, ногами, глазами, что истории его оживали, становились зримыми и запоминались навсегда. Он буквально рисовал их. Допустим, рассказывает он о каком-нибудь фронтовом случае и, по ходу сюжета, надо ему упомянуть, что в такой-то момент он полз по-пластунски. Так он, бывало, не просто скажет: «И тут я, значит, пополз», – а непременно ляжет на пол и, буровя половики, проползет. А если при этом в правой руке у него тогда находился автомат, то угребаться он, будьте уверены, и теперь станет только левой.

Особенно любил отец вспоминать о прежней деревенской жизни. Жизнь эта в его описании получалась необыкновенно яркой и сочной. Туманы там падали белые, как молоко, град хлестал исключительно с куриное яйцо, телята родились величиною с годовалого бычка, а мужики играючи кидали на бричку пятипудовые мешки. Отец не признавал полутонов.

Долгое время я был уверен, что отец либо сочиняет все свои истории, либо основательно привирает. Один случай резко поколебал эту мою уверенность.

Не помню уж, по какому поводу, происходила у нас дома крупная гулянка, и я ушел в этот вечер ночевать к товарищу. Вернулся только утром, вместе с приятелем, и никого из гостей уже не застал. За разгромленным столом сидел только младший брат отца дядя Паша и, положив голову на руки, спал. Так обычно кончались все дяди-Пашины праздники. Быстренько напившись, он какое-то время свирепо кричал песни, забывая напрочь других желающих, а потом прямо за столом засыпал. Вообще, по приговору всех родственников, дядя Паша был нехороший человек: хвастун, пьяница и задира. Пил он, правда, не шибко часто, но уж до такой степени, пока – как говорила моя мать – «под собой не побачит». А задраться мог по любому поводу – лишь бы только поспорить.

Вот и теперь, проснувшись, дядя Паша сразу нашел, к чему прицепиться.

– Ты что же, спортсмен? – насмешливо спросил он моего товарища, заметив на нем тренировочный костюм.

– Да ну, – засмутился тот. – Я – что. Вон Колька – это да!

– Колька? – Дядя Паша не поверил. – Куда ему – он слабак.

– Ничего себе – слабак! – обиделся за меня товарищ. – В пятерке лучших бегунов района. Слабак!

– Хм! – повернулся ко мне дядя Паша. – А я тебя, Миколай, обьягу.

Мне тогда только что исполнилось восемнадцать лет. Под загорелой кожей моей перекачивались нетерпеливые мускулы, тренированные легкие работали как мехи. И я действительно был одним из лучших бегунов в районе. Поэтому я даже не удостоил дядю Пашу ответом, а только усмехнулся.

– Ты не скалься! – завелся дядя Паша. – Давай сымай штаны. Небось ты в трусиках привык соревноваться.

– Может, в другой раз, – сказал я. – Вы сегодня тяжелый.

– А я тебя и тяжелый обьягу. Спорим на пол-литра.

Товарищ незаметно толкнул меня в бок. Водку мы не пили, но выпорить у дяди Паши бутылку представлялось забавным.

– А куда побежим? – спросил я.

Дядя Паша прищурился.

- Ну хоть до свата Ивана – и обратно.
- Далеко это? – поинтересовался мой товарищ.
- Километров пять, – ответил я.

Товарищ присвистнул. Из кухни выглянула мать и заругалась на меня:

- Вот я тебе посвищу в избе, черт голенастый!
- Анна, – остановил ее дядя Паша, – налей-кось там мне...

Мать с недовольным видом принесла дяде Паше водки в граненом стакане. Он выпил, понюхал засохший селедочный хвостик, скрутил толстенную сигарку и задымил.

– Сымай, сымай штаны-то, – издевался дядя Паша между приступами кашля. – Да руками помаша. А то задвохнешься, не дай бог.

Бежать все же решили одетыми: дядя Паша – потому, что под штанами у него были кальсоны, а я – из солидарности.

Вышли за калитку, и товарищ, взявшийся посудить, провел поперек улицы стартовую черту.

- Погодь маленько, – сказал дядя Паша. – Курнуть надо.

Он привалился спиной к воротному столбу и скрутил еще одну великанскую папиросу. Курил на этот раз дядя Паша неторопливо, обстоятельно, впрок. Только когда крохотный окурок стал жечь губы, дядя Паша затоптал его. «Давай!» – махнул он рукой.

Я принял высокую стойку, как при старте на длинные дистанции. Дядя Паша выставил вперед левое плечо, а правую руку, сжатую в кулак, отвел за спину – будто драться собрался. Товарищ скомандовал: «Марш!» – и мы побежали.

Улица наша Аульская (с одной стороны, по косогору, – низкие насыпухи, с другой – длинный забор Алюминиевого завода) тянулась мелкими ложбинками – бежать по ней было трудно. Только не мне, разумеется, привыкшему к кроссам по пересеченной местности. Я действовал по науке. Перед спусками «выключал сцепление» и шел вниз широким, маховым шагом. Подъемы же брал коротким ударным, до отказа работая руками. Как бежал дядя Паша, мне было не видно, но сапоги его настойчиво бухали в двух метрах за спиной. Один раз он даже приналег, поравнялся со мной и сделал замечание:

- Ты... бежи ровней... не суетися.

И снова приотстал.

Мы пробежали метров пятьсот... восемьсот... километр.

Дядя Паша все не отставал.

А в моей голове росло недоумение. Как же так?! Ведь ему сорок восемь лет. До полуночи он гулял, а потом, опьянев, спал, сидя за столом. Выхлестал натошак чуть не стакан водки, искурил горсть самосаду. Елки-палки!.. А в сорок третьем году дядя Паша вернулся с фронта на костылях. Он был сапером и подорвался на собственной mine. Ноги его были сплошь в длинных черных струпьях. Он тогда охотно показывал их всем желающим – засучивал штанины и разрешал пересчитать раны: девятнадцать шрамов, не считая отсеченного мизинца на левой ноге!.. Года полтора дядя Паша ходил в инвалидах, торговал на базаре папиросами «Северная Пальмира» поштучно, пьянствовал, куражился и бил костылями тыловых крыс.

И вот теперь, на этих самых ногах, похмельный, накурившийся, дядя Паша гнался за мной, второразрядником, – и не отставал.

Я пожалел его и чуть сбавил темп.

Дядя Паша немедленно захрипел возле самого уха.

Пришлось снова прибавить.

Улица закончилась крутым и длинным спуском к согре. Затем потянулись извилистые деревянные мостки, проложенные через топь, на противоположном краю которой виднелся уже дом Ивана Захаровича – свата Ивана.

Моим резиновым тапочкам осклизлые мостки были не страшны. А дяди-Пашины кирзачи разъехались, он остуился и увяз в болоте.

– Стоп! – закричал он. – Стоп!.. Твоя взяла, Миколай!

Я оглянулся. Дядя Паша стоял на одной ноге, держа другую – в грязной белой портянке – на весу.

Мы вытащили из болота его сапог и пошли обратно. Я громко хвалил дяди-Пашин талант. Дядя Паша – все же он очень устал – опять курил, отхаркивался и загадочно хмыкал.

Вечером я рассказал про это событие отцу.

– А ты как думал? – ничуть не удивился отец. – Да ты с кем схватился – соображаешь?.. С Павлом! – Он начал привычно возбуждаться. – Да Павло знаешь как, еще когда в парнях ходил!.. Бывало, отчертомелит на пашне день, а потом сапоги веревочкой свяжет, кинет через плечо – и подался в деревню, на вечерки. Бегом! А двенадцать верст, слава богу! За ночь нагуляется там, напляшется, а чуть свет – обратно... Сосед наш по заимке, Кузьма Митрохин, рассказывал: трогаю, говорит, один раз от землянки и вижу, будто кто-то из ваших побег на большак. По хватке – вроде как Пашка. Ну, я кнут из-под себя выдернул – и по лошадям. Догоню, думаю, парня – подвезу. Пока на большак выскочил – его, черта, уже не видать. Дак, веришь? – до самой деревни понужал, кнута из рук не выпускал – так и не догнал! На паре коней! А лошади какие! – совсем уже восторженно закончил отец. – Львы!..

Вот тогда я и подумал впервые, что, может быть, истории отца не столь уж неправдоподобны.

С тех пор прошло много лет. Давно нет отца, а дядя Паша стал вовсе старым – сгорбился, поседел и высох. Теперь, когда я вспоминаю иногда тот его подвиг, дядя Паша искренне удивляется, крутит головой и хлопает себя по тощим коленям. Он плохо слышит и поэтому, наверное, никак не может понять, что я рассказываю ему случай, героем которого был он сам. Дядя Паша не верит.

– Здоров ты брехать, Миколай! – говорит он.

А я с грустью думаю, что вот уходят один за другим старики, а вместе с ними и память о той, прежней жизни, так не похожей на нашу. О жизни, в которой чудно переплеталось разумное с нелепым, героическое с низким, смешное с трагическим. И всё чаще у меня возникает желание поделиться своим небогатым наследством – пересказать некоторые истории отца. Пересказать в том виде, в котором сохранила их непрочная человеческая память, зная наперед, что правда в них основательно перемешалась с вымыслом¹. И все же не пытаюсь ради стройности будущего повествования придумывать отсутствующие события, штопать и надставлять чьи-нибудь биографии, искать скрытый смысл в делах и поступках необъяснимых.

¹ По этой причине я изменю в дальнейшем имена и фамилии некоторых персонажей. Ведь, в конце концов, все, что происходило с ними, могло случиться с кем угодно другим, в каком угодно другом месте.

Три рыжих коня

Никто толком не знает (и до сих пор, между прочим), почему в девятьсот четвертом году деда Дементия угнали на японскую войну. По всем законам не должны были его трогать. Дед (а тогда еще не дед, а просто Дементий Гришкин) числился единственным кормильцем, на его шее висело четверо детей – самому старшему, Григорию, было всего тринадцать лет. Пятым бабка Пелагея ходила беременная.

И все же факт остается фактом: взяли именно деда Дементия, а не кого-нибудь, допустим, из взрослых и неженатых сыновей Анплея Степановича.

Братья Гришкины, Дементий и Мосей, были мужиками крайне невезучими. Начать с того, что черт дернул их перенять от папаши своего ненужное ремесло: братья были кожемяками. Могли выделывать юфть и хром, овчину – под дуб и черно, сыромятину и спиртовые подошвы для сапог – в палец толщиной и твердые, как железо. Но в родной их деревне на Тамбовщине сапог никто не носил, полушубков – тоже, а ходили все исключительно в лаптях и армяках. Даже ременная конская сбруя была у одного мельника. У остальных прочих сбруя была веревочная. Вообще, тамошние мужики кожу в руках держали только по несчастному случаю – когда у кого-нибудь падала корова. Но такой хозяин, по бедности, мастеров Гришкиных все равно не звал, а с горем пополам выделывал шкуру сам, после чего она начинала греметь, как жестяной лист, и долго потом без пользы мокла на прясле.

От такой жизни братья Гришкины вконец отошдали, засохли и решили податься в Сибирь – на вольные земли. Но и тут у них все вышло не как у людей. Добрые люди сначала посылали ходоков, потом долго собирались, копили деньги и ехали в Сибирь по чугунке или же на своих лошадях. Везли, понятное дело, весь скарб: чугуны, сковородки, гвозди, ухваты, сохи, шины железные для колес, колосники и противни. Гришкины-мужики собрались в момент. Сколотили тележку на двух колесах, посадили в нее малых ребят Дементия, впряглись и покатали. Жена Дементия Пелагея, языкастая и нравная баба, подталкивала тележку сзади и срамила мужиков на чем свет стоит.

К осени добрались они до Урала и там зазимовали. Здесь искусство Гришкиных хорошо им подсобило. Всю зиму они выделывали кожи и получали за это пятак в день или половину скотской головы – на выбор. Дементий с Мосеем брали раз пятак, раз скотскую голову, накопили к весне на лошадь с телегой и тронулись дальше. На телеге теперь кроме ребятешек сидела Пелагея, успевшая в дороге родить и снова беременная.

И опять они ехали все лето и осень, вплоть до холодов, пока в один день не родила Пелагея и не сдохла лошадь. Случайное место это, где их настигла беда, называлось деревней Землянкой. Лежала деревня между речкой и озером. Налево, за речкой Бурлой, через сутки езды, начиналась глухая тайга; прямо тянулась степь с частыми колками; направо, за топким озером, – степь с редкими колками; а за этой степью – совсем уже голая, и жили там не русские люди, а казахи, которых по-местному все называли киргизами. А вольной земли вокруг было столько, что хоть ртом ешь. Вот только никто эту землю для Гришкиных-мужиков не вспахал, не засеял, и пришлось им, ввиду наступающей голодной зимы, опять пойти в работники.

Дед Дементий (все же нам удобнее так его называть) нанялся с женой к страшно богатому сибиряку Анплею Степановичу по прозвищу Кыргыз. Прозвали его так потому, что Анплей Степанович, хотя был и русский человек, землю не пахал, вовсе в здешних местах окиргизился, гонял табуны лошадей, общим числом до тысячи голов, сам из седла почти не вылезал, даже до ветру, как говорили, ездил верхом и с оружием.

Лошадей ему пасли киргизы, а Дементия Гришкина он взял для работы по дому и выделки кож. Дед Дементий оговорил условие: помимо другой платы – к весне коня. Демен-

тий в Сибирь приехал не батрачить, а хозяйствовать, и у него при виде здешней целины руки зуделись.

– Коня, паря, лови хоть сейчас, – сказал Анплей Степанович. – После отработаешь.

Дед Дементий, однако, сейчас же ловить коня не стал, понимая, что зимой его не прокормишь, а ближе к весне напомнил хозяину про его обещание. Целый день он кружил возле косяка – высматривал. Жену так не выбирал, как лошадь. Но зато и выбрал. Пастух-киргиз заарканил ему могучую рыжую кобылу, с такой широкой спиной, что на ней можно было спать двоим, валетом.

Анплей Степанович, глянув на кобылу, только и сказал:

– У тебя, паря, губа не дура.

А больше ничего не сказал.

Примерно в это же время произошло одно вроде бы малозначительное событие. Пелагея, жена деда Дементия, пряла в доме у Анплея Степановича.

Пряла, проворно крутила веретено и еще проворнее трещала языком.

– Вот, матушка ты моя, – говорила она сытой ленивой хозяйке, – живешь ты за своим мужиком, как за господом богом! – говорила будто бы в одобрение, а по голосу ехидно, с подковыркой. – Гляжу я на тебя – такая ты гладкая да справная. И добра у тебя – черт на печь не затащит. Охо-хо-хо-хо, а мы-то голые да разутые! Дементий мой – мешком ударенный: ни украть, ни заработать...

Хозяйка слушала, слушала, а потом зацепила полную ложку горчицы и сказала:

– Съешь, Пелагеюшка, горчицу – я тебе платье дам.

Хозяйка была насмешница из насмешниц. Сам Анплей Степанович тоже любил пошутить. И сыновья у него были большие шутники. Как-то был случай: Анплей Степанович велел им отвезти в аул пастухам-киргизам два куля муки. Сыновья отвезли. С неделю, однако, киргизы ели эту муку – черпали пиалами из мешков и пекли лепешки. А как дочерпали второй мешок до дна – увидели там дохлого трехмесячного поросенка. Чушку, по-ихнему. После такого дела весь кишлак переблевался, вывернуло их, бедных, наизнанку. Киргизы, от мала до велика, валялись зеленые и на дух ничего не принимали.

Старшина ихний, когда маленько отдышался, сел на белого коня и поехал к Анплею Степановичу жаловаться. Но до места не доехал. Возле озера столкнулся он с сыновьями Анплея Степановича. Те как раз лазали по брюхо в воде – ставили мордушки. Тут у старшины душа, видать, не стерпела – он погнал лошадь прямо в озеро и начал хлестать этих бугаев плеткой, хрипя и ругаясь по-своему. Сыновья Анплея Степановича сначала прикрывали уши руками, ныряли, а потом рассмотрели, что это всего-навсего сухонький старикашка, стащили его с коня и принялись курять. Они топили его с головой и держали там, зажав ногами, пока он, нахлебавшись воды, не затихал. Тогда братья поднимали старика, давали ему глотнуть воздуха и опять куряли. В общем, накупали они его до посинения, кинули поперек седла и турнули коня в обратную сторону.

Вот такие, значит, они были шутники. Но это – к слову. А в тот раз пошутила ихняя мамаша. Съешь, дескать, Пелагея, ложку горчицы – я тебе платье дам.

– А какое платье дашь? – спросила Пелагея вроде бы с интересом.

– Ну, хоть ситцевое, в горошек.

– А праздничное не дашь?

– За праздничное, девка, две ложки.

– Черпай, – согласилась Пелагея.

Хозяйка, смеясь, зачерпнула вторую ложку.

– Теперь, – сказала Пелагея, нехорошо ощерясь, – намажь себе задницу! Как раз на всюю хватит...

На другой день сгинула рыжая кобыла. Дед Дементий двое суток мотался по степи с уздечкой – искал. И не нашел. Пелагея извелась вся, плакала потихоньку. Про себя грешила Пелагея на хозяйку: она, мол, толстомясая, подучила пастухов, киргизню свою отчаянную. Дементию же про свои догадки и про то, как хозяйку за горчицу обрезала, не говорила – боялась.

К концу вторых суток Анплей Степанович вышел после ужина во двор, глянул на уставшего работника и, ковыряя в зубах прутиком, сказал:

– Зря, Дементий, ноги бьешь. Поди, ее давно уж кыргызы на махан пустили. Или волки задрали. – При этом разбойничьи его цыганские глаза лениво смеялись.

«У тебя, туды твою в мышь, целая тыща их, а чтой-то ни одна на махан не попала. И волки не дерут», – подумал Дементий, но смолчал.

– Ты, паря, – опять заговорил хозяин, – имай другую, вот что. Отработаешь – куда тебя девать.

Дед Дементий поймал другую лошадь, опять кобылу и опять рыжую, только в белых чулках – для приметности.

Вторая кобыла пошла на махан через неделю. Расстроенный Дементий заявился к хозяину и сказал:

– Попытать разве еще?

– Попытай, паря, попытай, – разрешил Анплей Степанович.

– Я, Анплей Степанович, – сказал Дементий, – к табуну больше подпускать тогда не буду. Хочешь обижайся, хочешь нет, а только сомнение меня берет. Так что буду в пригоне держать.

– А держи, паря, держи. Места не жалко.

– Дурак-башка, Демка! – сердито сказал пастух-киргиз, выловив из косяка мосластого рыжего жеребца (дед Дементий пристрастный был к этой масти). – Дурак-башка! Тьфу!.. Не ты коня арканишь, тебя Анплей арканит, собака!

– Чего мелешь! – буркнул Дементий. Хотя про себя подумал, что, скорей всего, так оно и есть: свил ему Анплей аркан. Но, с другой стороны, и без коня ему здесь на ноги не подняться.

...Рыжий жеребец ушел из пригона через несколько дней. И не вернулся: ни на двор, ни к табуну.

Тогда Дементий сел и, напрягая голову, стал считать. Получалось, что кругом ему петля. Избы нет – живет с ребятишками у Анплея в дырявом сарае. Земли нет – сибиряки за приписку просят по тридцать рублей с души, а это такие деньги, что у Дементия аж в животе жарко становится, как он про них подумает. Коня нет, да еще за трех отрабатывать надо. Клади, значит, два года. Если не больше.

«Ах, туды твою в мышь! – схватился за бороду Дементий. – Оплел чертов Кыргыз!.. На вольные земли ехал, а попал хуже, чем в тюрьму!.. Разве поджечь его в такую голову, завязать глаза да бежать?.. Подожду живодера – один теперь конец!»

Но не пришлось Дементию завязывать глаза и бежать от нужды. Как-то однажды заголосила вдруг хозяйка. Она выла и причитала полдня, и так страшно, что Пелагея, которая после горчичной размолвки в хозяйский дом не заглядывала, решила про себя: «Это Анплей помер. Ей-богу. Ишь ведь кричит, как будто ее железом жгут».

Однако живой и целый Анплей Степанович вечером зашел в сарай к Гришкиным. Зашел первый раз за все время.

Он потоптался у порога, зыркнул туда-сюда глазами и сказал, глядя вверх Дементия:

– Айда, паря, в дом. Хозяйка, слышь, пельменей настряпала.

Дементий ушел с Анплеем Степановичем, а Пелагея осталась сидеть с разинутым ртом. То, что Анплей позвал работника на пельмени, само по себе было невиданным делом. Но еще больше Пелагею поразило другое: когда хозяйка успела пельменей настряпать, если она с самого обеда ревела дурнинушкой?..

А вскоре деда Дементия забрили на японскую войну. Сыновья и работники Анплея Степановича раскатали по бревнышку сарай, в котором жили Гришкины, и за три дня поставили на облюбованном дедом Дементием месте сруб. Работали, понятно, день и ночь. Крыши, правда, над домом не было, не было пока окон и печки, но зато рядом, в загородке из жердей, стояли два коня и корова с телятком.

...Дед Дементий провоевал три года. То есть воевал он полгода, два года сидел в японском плену и еще полгода выбирался обратно.

Деревню Землянку Дементий не узнал. Вместо одной безымянной улицы, тянувшейся вдоль речки Бурлы, увидел он громадное село с улицами Полтавской, Курской, Орловской, Воронежской, Псковской и Тульской. Видать, понаехавшие мужики не задаром здесь строились и селились – у Анплея Степановича топтало степь уже полторы тысячи коней.

Бабка Пелагея тоже не сплеховала – приумножила хозяйство. Теперь у него было три коня, четыре коровы, двенадцать штук овец, а кроме того – свиньи, куры и гуси. Старшего сына Гришку Пелагея оженала неполных шестнадцати лет, невесту выбрала ему тихую, безотказную и так впрягла молодых в работу, что от них только пар шел.

Словом, довоенный подарок Анплея Степановича попал в цепкие руки, хотя и в бабьи. В деревне бабу Пелагею за жадность, злость и двуличие прозвали «Яга». Еще говорили про нее: «Пелагея щи из топора варит и сама цыплят высиживает».

Про деда Дементия и его семейство

Дед Дементий во многих отношениях был человеком странным и необыкновенным. Взять хотя бы его ремесло. Ну ладно, дома, на Тамбовщине, от него было одно расстройство. Но здесь-то, в Сибири, дед мог не колотиться из-за земли и скотины, а начать вместе с братом Мосеем свое дело. Наверняка тогда они очень скоро взяли бы всех односельчан за хрип и жили потом как сыр в масле. Дед, однако, свое ремесло ничуть не ценил. Он тянулся ко всякой животине, а больше всего обожал коней и собак. Коней дед Дементий любил преимущественно рыжих, а в собаках его восхищали рост и сила. «Ты, Дементий, – говорили ему мужики, – кобелей выбираешь ровно как в оглобли». На своем пристрастии к рослым собакам дед однажды крепко погорел, но про это речь будет дальше...

Имел дед Дементий еще один талант – был прирожденным стрелком. И опять же никак не пользовался своим умением. Другие мужики в овцу с десяти шагов попасть не могли, а все же промышляли. Вокруг Землянки столько водилось зверя и птицы – с зажмуренными глазами стреляй, не промахнешься. Дед Дементий охотиться не любил. Имелась у него, правда, расхлестанная берданка, но чтобы из нее стрельнуть, надо было крепко примотать затвор веревочкой – иначе он мог выскочить и покалечить стрелка.

Вообще, деду Дементию его великое искусство приносило одни огорчения. Единственный раз за всю жизнь он поохотился. Случайно. Шел как-то с берданкой вдоль озера и увидел вдруг, что на прогалинку выплыла семья уток. Впереди кряква, а за ней – по двое, плотно друг к дружке весь выводок – восемь штук. Ну прямо солдатский строй! Дед приложился, выстрелил – и все девять уток перевернулись кверху лапками... Веврочки у Дементия не нашлось – связать уток. Пришлось ему снять подштанники, перетянуть их возле щиколоток травой и попихать туда свою неожиданную добычу. В таком виде, с неприличным мешком через плечо, он и примаршировал домой. В деревне деда Дементия подняли на смех. Во-первых, за подштанники, а во-вторых, за рассказанную небылицу. Вот это, дескать, отлил пулю – с одного выстрела девять уток! И как дед ни объяснял, что утки, мол, кучкой плыли, а дробь, наоборот, видать, широко рассыпалась, – никто в такую байку не поверил, и долго потом над ним измыслились на разный лад.

Еще более обидный случай произошел с ним на японской войне. Точнее, не на самой войне, а перед ней – ещё на учениях.

Дело было на стрельбище. Каждому солдатику раздали по три патрона, стрелять надо было с колена, в мишень. Дед Дементий отстрелялся раньше всех и, не поднимаясь с колена, задумался. Задумался и, может, даже придремал. И тут бухнул по первому разу долго маявший рядом сосед. Дед Дементий от неожиданности вскинулся. В этот момент проходивший сзади поручик смазал его по уху. Так вlepил, что голова у деда чуть не отлетела прочь.

– Ворона, мать твою! – сказал поручик. – Сосед стреляет, а ты вздрагиваешь! Где ж тебе самому попасть, скотина! Мишень со страху не разглядишь!

Тогда сидевший поодаль писарь осмелился вмешаться.

– Гришкин, ваше благородие, – заметил он, – обыкновенно пулю в пулю кладет.

Поручик крикнул и отошел.

А у деда Дементия два дня сочилась из уха кровь и звенело в голове...

Был дед Дементий также страшно отчаянным мужиком. Не боялся ни зверя, ни человека, ни Господа Бога – никого.

Причем смелость его, при незлобности характера, была не натужной, а легкой, бездумной какой-то. Дед Дементий просто не знал страха – и все.

Когда братья Краюхины, Лука и Абрам, дрались при разделе, когда они, накатавшись по двору, выскочили в лохмотьях и крови на улицу и стали с разбегу биться кольями, – никто не

рискнул их разнять. А Дементий рискнул. Он, хоть сам невысокий ростом был и дробный, легко раскидал братьев в разные стороны. А когда Лука с Абрамом, опамятававшись, двинулись с кольями на разнимщика, дед Дементий не побежал. Стоял, задрал бороду, и дожидался. А потом быстро нагнулся, зачерпнул в обе руки песочку и разом кинул братовьям в глаза. Тогда же и другие мужики набежали, связали ослепших Луку и Абрама.

А еще раньше, когда дед Дементий только с японской войны воротился, начал было прижимать его Анплей Степанович. У Кыргыза такой был порядок: если кто-то из расейских мужиков за приписку платить отказывался, а дом ставил, Анплей ему ничего не говорил, а как бы невзначай прогонял через его усадьбу табун коней голов в триста. После этого мужик понимал, что ему в Землянке все равно не жизнь, и сам подавался куда глаза глядят.

После войны цены на приписку выросли, и Анплея стала заедать жадность. Он, видать, не мог стерпеть, что Гришкин обжился в Землянке вроде как бесплатно. И однажды, на зорьке, прогнал табун. Кони истолкли в труху плетень, разворотили пригон, закопытили насмерть трех овец и все в ограде смешали с грязью.

Дед Дементий шум поднимать не стал. Он сделал новый плетень и принялся, потюкивая топором, чинить пригон.

Но не дочинил. Анплей Степанович через сколько-то дней опять велел прогнать табун.

И нашла коса на камень. Дементий еще старую обиду вспомнил, когда Анплей хотел его, расейского голодранца, навек в батраках присушить. Он снова заплел плетень, а ночью нарыл вдоль его волчьих ям. Рано утром загудела земля от копыт (дед Дементий на двор не стал выходить, в избе прислушивался), закричали, забились кони, а потом испуганный табун шарахнулся, видать, в сторону – только стукоток пошел по степи.

Когда совсем рассветало, прискакал к усадьбе Гришкиных сам Анплей Степанович. А с ним – пять его головорезов-пастухов. Все с ружьями. Дед Дементий уже дожидался их. Стоял возле нетронутого плетня, держа под мышкой свою бердану.

– Дементий! – сказал почерневший Анплей (конь под ним плясал). – Дементий!.. Предупреждаю! – И показал пальцы, сложенные крестом.

– А ну, вертай назад! – тонко закричал дед Дементий. – Вертай, туды твою в мышь, а то я тебя щас с коня сажу!

Работник Анплея Степановича, собака его Пашка Талалаев, полукиргиз-полурусский, сдернул с плеча ружье. Но только и успел, что сдернуть. Дед Дементий выстрелил раньше – и ружье Пашки Талалаева с расщепленным ложем кувыркнулось в синем небе...

Через час приехали уже только одни работники. И не верхами, а на двух пароконных бричках. Приехали, чтобы прирезать и забрать поломавших хребты лошадей. Не пропадать же скотине.

Вот каким бесстрашным человеком был дед Дементий.

Но, с другой стороны, дед был невозможный трус. Он боялся всяческого начальства, особенно же полиции, а впоследствии милиции. Милиции он боялся до тошноты, до расстройства живота. Бабку Пелагею, например, – когда дед принимался «учить» ее за тяжелый нрав, – только и можно было отбить напоминанием про милицию. Бывало, дед войдет в азарт: в избе пыль до потолка, крик, топот, и уж, кажется, ни крестом, ни молитвой Дементия не унять. Тогда кто-нибудь из детей выглянет в окно и нарочно испуганно скажет:

– Ой, тятя, кажись, к соседям милиционер приехал! Вроде его лошадь стоит.

Дед бледнел, глаза его суеверно округлялись, и весь он становился слабый и послушный, как после тяжелой болезни. Обыкновенно он лез в такие моменты на печь и с головой закрывался тулупом.

И еще одно дело – временами на деда Дементия находило. Это уж с ним началось ближе к старости. Допустим, ночью на заимке выйдет он до ветру, присядет в полынях и задумается. А тут потянет легкий ветерок, полыни зашумят – и покажется деду, что попал он в дремучий

лес. Вскочит он, штаны в горсть зажмет – и бегом к землянке. А навстречу ему, из тумана, – вдруг конный с палкой в руках. Бывало, дед, всклокоченный, очертеневающий, так и проблужает всю ночь кругом землянки, проаукает. И только на свету разберет, что никакого леса рядом нет, одни полыни, и конного нет, а просто стоит телега с задранной вверх и подпертой дугой оглоблей. Сам же он вчера для чего-то ее и подпер, старый дурак.

Про жену деда Дементия, бабу Пелагею, рассказ будет короче. Такая эта была отрава, что много говорить о ней язык не поворачивается. Даже снаружи на бабу смотреть не хотелось, хотелось скорей зажмуриться. Была Пелагея костлявая, крючконосая, по-цыгански черная и злющая, как цепная собака.

– Ведьма! – не раз говорил дед. – Не сдохнешь ты, ведьма, не дашь мне спокойно с детьми пожить!

И еще другое говорил дед с обидою:

– Ведь я на тебе, туды твою в мышь, не женился. Шапка моя на тебе женилась.

Когда-то на самом деле так и было. Дементий не хотел брать Пелагею. Ни боем, ни уговорами его не могли заставить ехать к ней. Тогда сваты поехали одни, а вместо жениха взяли шапку его. За шапку и сосватали.

Все же – забегая далеко вперед, скажем – дед с бабушкой прожили рядом почти всю жизнь, народили и вырастили восьмерых детей, не считая еще двоих, умерших в младенчестве. Сыновей у них было трое.

Первенец, Григорий, в детстве шибко болел оспой-ветрянкой. Валялся он много дней в беспамятстве, весь обметанный, и глаз не мог расцепить. Пелагея выла над ним, боялась, что умрет.

– Деточка ты моя родная! – причитала она. – Закрылись твои глазыньки! Ой, да не видишь ты свету белого! – А потом взяла, темная баба, и разлепила ему пальцами левый глаз – пусть, мол, хоть одним проглянет.

С тех пор Григорий окривел. И то ли из-за этого изъяна, то ли уж такой характер удался, но вырос Григорий парнем угрюмым и лютым. А потом, когда мужиком стал, к лютости этой прибавилась у него волчья хозяйская хватка. Григорий скоро сообразил, что грести надо к себе, а не от себя, отделился от отца и, зажив своим домом, за несколько лет превратился в настоящего кулака. Правда, надорвался сам, заморил и затюкал ребятишек, а жену, Ольгу, согнул в колесо, старуху из нее сделал. С родней Григорий не якшался, в праздники не гулял, ходил зиму и лето в одном и том же рваном картузе и задубевшей черной косоворотке.

Между прочим, в Гражданскую войну Григорий крутился какое-то время в партизанах, и, может быть, в дальнейшем мы еще расскажем про этот случай специально...

Второй сын, Прохор, был тихоня и добряк. Из таких мужиков, на которых все, кому не лень, верхом ездят. На Прохоре и ездили. Сам он этого, впрочем, как бы не чувствовал. Не замечал, верхом ли на него садятся или в оглобли закладывают. Не замечал, что бабу Пелагею за столом подсовывает ему, главному в доме работнику, худший кусок; что кобылы-сестры в грош его не ставят и считают за простодырого ваньку; что к праздникам – всем в доме обновки, а ему – те же рваные портки. Да много чего не замечал Прохор. Он мог, например, целый день, уткнув глаза в землю, проходить за плугом и спохватывался лишь тогда, когда видел, что заехал уже на полосу соседа и тому отмахал с полдесятины. А мог и по-другому. Бывало, остановится посреди полосы, сдвинет на затылок картуз и часа полтора слушает, как заливается жаворонок, – хоть поджигай все кругом. Бабу Пелагею, привыкшая к тому, что Прохор безответно мантулит на семью как вол, в подобные моменты начинала аж из себя выходить.

– Во! – кричала она. – Глядите на него – встал!.. Распустил слюни-то – черт, мерин, дармоед!

Прохор и этого не замечал.

Редко-редко, когда Прохора уж особенно сильно допекали, он вспыхивал враз, как солома, и тогда становился похожим на деда Дементия – мог все сокрушить, пожечь и переломать в короткое время. Или, наоборот, сбывчивался, каменел – и никакой силой нельзя было сдвинуть его с места.

Так случилось с женитьбой Прохора. Ему собралась сватать красивую и богатую невесту Настю Окишину.

– Женись сама, – сказал Прохор матери. – Я к ней не поеду.

Бабка Пелагея, вспомнив свое замужество, не растерялась – выдала сватам шапку Прохора. К тому времени поп Гапкин уже сбежал из деревни с колчаковцами, по-новому жениться в Землянке еще не умели – и Настю вместе с сундуками просто перевезли к Гришкиным.

Прохор молодуху не признал. Два дня Настя томилась в горнице и, обиженно ворочая большими коровьими глазами, ела печатные пряники. На третий день разыскала Прохора и боязливо сказала:

– Прош, а Прош... Праздник завтра... К тятке с мамкой съездить бы...

– Езжай, – равнодушно ответил Прохор.

Дед Дементий, молчком сочувствующий сыну, запряг лошадь и повез Настю к родителям.

Прохор открыл и придержал ворота. Когда сани поравнялись с ним, буркнул Насте:

– Назад можешь не вертаться.

А через несколько дней он сказал отцу с матерью:

– Посылайте сватов.

– К кому-то? – спросила бабка Пелагея.

– К тетки Комарихи дочке, Кургузовой работнице.

У тетки Комарихи – Евдокии Комар – после того, как муж ее погиб в Гражданскую, осталось на руках четверо детей. Евдокия сама пошла по людям работать и старшую дочь Татьяну (ей тогда всего двенадцать лет было) в няньки отдала. Вот про эту Татьяну, которая теперь батрачила у кулака Игната Кургузого, и говорил Прохор.

Бабка Пелагея каталась по полу, царапала лицо, кричала:

– Не хочу работницу! Не хочу голодранку.

Но ничто не помогло.

Тогда Пелагея заперла в сундук шапку Прохора. Ехать свататься без шапки считалось большим позором.

Прохор оседлал коня и поехал сам. Он ехал сватать Татьяну Комар, чернобровую работницу Игната Кургузого. Ехал на виду всей деревни один, в легоньком летнем картузе, и уши его на морозе упрямо горели, как два фонаря...

Младший сын, Серега, был, как в сказке, дурак. Но не такой дурак, на которых воду возят. Бабка Пелагея в последыше Сереге не чаяла души. Он это рано усек и вырос нахальным лентяем. Серега – невиданное в деревне дело – спал до обеда, был горлохват и хвостун, тиранил сестер и мать.

Чуть только Серега вытянулся, чуть сопли у него подветрели, как он потребовал у отца гармошку и хромовые сапоги. Начистив сапоги до блеска, насадив сверху калоши, выпустив чуб из-под фуражки, Серега белым днем выходил с гармошкой на улицу и шел козырем, оглядываясь на собственную тень. Играть, кроме «тына-тына у Мартына», он ничего так и не научился, и в деревне про Серегу говорили: «Вон Гришкина корова пошла-замычала».

Если к этому добавить, что дед Дементий вырастил еще пять дочерей и что были среди них и скромницы, и лапушки-красавицы, и горластые завистливые дуры, – то можно подумать, будто дед Дементий в малой капле, в лукошке, всю Россию норовил произвести на свет – с красотой ее и умом, с юродством и ленью, с удалью и темнотой. Да маленько промахнулся. Кое в чём недобрал, а кое в чём переборщил.

В деревне и то, глядя на Гришкиных ребят, смеялись: Дементий с Пелагеей, – говорили, – похоже, поврозь стараются – каждый для себя и другому поперек.

Один день из жизни села Землянки

Начался этот чудной день обыкновенно: выпорхнул, как воробей из-под застрехи, перышки почистил и зачирикал про свои мелкие дела. Дед Дементий Гришкин, к примеру, собрался резать кабана и позвал на помощь свата своего Егора Ноздрева, большого мастака по этой части. Сват Егор пришел, не медля, достал из-за голенища непомерной длины нож и начал опасно махать – показывать разные бойцовские приемы: как надо хватать кабана за переднюю ногу, как переворачивать и с маху колоть под лопатку.

– В сердце надо! – подступал к деду Дементию с ножом сват Егор. – В самую, значит, середку! Не дай бог промахнуться – и-и-и-и!.. Он как пойдет стегать по двору – все сокрушит!

– Может, из берданки его вдарить? – спросил дед Дементий, заслоняясь рукой от разгорячившегося Егора.

Сват Егор обиделся, завернул свой страшный кинжал в тряпицу и спрятал обратно за голенище.

В этот момент влетел с улицы малый Гришкиных – Серега.

– Сидите тут! – закричал он с порога. – И ничего не знаете! А там поп Гапкин сбесился! – Серега торопливо дернул носом и, видать, повторяя чьи-то чужие слова, выпалил: – Как бы деревню не сжег, кобель долгогривый.

Дед Дементий, сам не шибко набожный, но ребятам своим в этом не потакавший, тут же смазал Серегу по затылку.

– Ты что это говоришь, басурман! – застрожился дед. – Да разве можно этак про батюшку – кобель?! Ну, сбесился и сбесился – и мать его так!

Приструнив Серёгу, дед Дементий накинул полушубок и выбежал на улицу – посмотреть на сбесившегося батюшку. Забывший про обиду сват Егор Ноздрев устремился следом.

На дворе было солнечно. Нападавший за ночь молодой снег слепил глаза. А вдоль улицы стояли люди и, прикрываясь рукавицами, смотрели в конец ее, туда, где она начинала скатываться к реке. Вскоре из-под горы вымахнула тройка вороных коней, заложенных в кошевку, и бешено понеслась прямо на глазающий народ. Люди прынули к плетням и воротам.

На облучке, скрючившись и уцепившись побелевшими руками за вожжи, сидел городской племянник попа Гапкина Николай Вякин, человек злой и темный, называвший себя каким-то эсером и слывший в деревне за разбойника. Сам же поп Гапкин, раскорячив ноги, стоял в кошеве и понужал на гармошке. Пьяная кровь кинулась батюшке в лицо и сравняла его по цвету с развевающейся рыжей гривой. На полыхавшем лице попа Гапкина жутко леденели белые сумасшедшие глаза. Кренясь из стороны в сторону, батюшка играл «Подгорную».

Тройка пропылила снегом и скрылась. Мужики, дружно выпустив дух, полезли за кисетами. Бабы крестились и плакали.

Не успели мужики запалить сигарки, как тройка вороных снова показалась из-за поворота. Теперь она неслась под уклон. На раскатах кошеву бросало в стороны, батюшка сгибался пополам или сильно откидывался назад, гармошка по-звериному рывкала, и обезумевшие кони рвались из постромок.

В одном месте поп Гапкин все же не удержался. Он вылетел из кошевы и с такой силой саданулся головой в запертые ворота Мосея Гришкина, что вышиб щеколду. Гармошку, однако, батюшка из рук не выпустил. Какое-то время он лежал темной кучей, потом поднялся, встал в проеме ворот, весь залепленный снегом, широко распахнул волосатый рот и крикнул:

– Бога нет!!!

Народ испуганно отшатнулся.

Поп Гапкин помолчал секунду, словно к чему-то прислушиваясь, и опять крикнул нараспев:

– Бога не-е-ет!

– Соопчал уже, – подсказал ему дед Дементий, стоявший в переднем ряду.

Батюшка не услышал Дементия. Он растянул до предела застонавшую гармонь и, ухватив с третьего раза верный тон, оглушительно запел:

Бога нет, царя не надо!

Волга-матушка река!..

Потом поп Гапкин спел известную всем песню: «Гришка Распутин сидит за столом, а царь Николашка побег за вином...»

Потом он кидал в мужиков снегом и опять кричал:

– Нет бога!.. И царя нет!.. У-у-у, хари!

Потом сидел на земле, плакал и говорил:

– Я есть татарин! Я – магометянин! Вяжите меня, православные!

И мужики, сняв шапки, вязали батюшку и несли его на плечах, как бревно, до дому.

Управившись с батюшкой, дед Дементий и сват Егор воротились домой – кабана все же надо было колоть.

– Крепко он племяша встренул, – говорил дорогой Дементий про попа Гапкина. – Ну, ничего – к завтраму, глядишь, очухается.

...На кабана вышли втроем – взяли с собой сына деда Дементия Гришку. Кабан был матерый, с заплывшими глазами и двойным подгрудком. Желтая щетина на его загривке стояла частоколом. Он не глядел на людей – не мог поднять налитую жиром голову – и ходил, чуть не бороздя пятаком по земле.

Дед Дементий и Гришка враз повалили его, схватив за ноги, как учил сват, а Егор упал на кабана сверху и пырнул ножом.

– Куда же ты, черт?! – заругался дед Дементий. – Рази справа у него сердце-то!

– Молчи! – прохрипел Егор. – Не первого колю!

Тут кабан рванулся, расшвырял мужиков и, в точности, как предсказывал Егор, стеганул по двору. Он носился с ужасной скоростью, буровил мордой снег, круто разворачивался и вдруг кидался на растопыривших руки ловцов.

– Бойся! – кричал сват Егор, прыгая задом на плетень и поджимая ноги.

Кое-как мужики остановили кабана. Дед Дементий метнул ему на голову хомут и точно попал, а Григорий упал, рассадив щеку, и схватил кабана за заднюю ногу.

– Быстрее, туды твою в мышь! – торопил дед Дементий крадущегося с ножом свата Егора.

Но не все, видать, чудеса этого дня закончились.

Не успел Егор приблизиться к месту схватки, как по двор к деду Дементию прибежал задохнувшийся брат Мосей.

– Ребята! – сказал он, вытирая шапкой пот. – Демка! Егор!.. Бросайте все!.. Кыргыз лошадей мужикам раздает. Даром...

– Гришка!! – закричал барахтавшийся в обнимку с кабаном дед Дементий. – Воротись, сукин сын!.. Проклянц.

Но было поздно. Григорий с Мосеем и Егором уже лупили на край села, обгоняя других мужиков, бежавших в ту же сторону с недоуздками, путами и веревками в руках.

...За околицей творилось невиданное. Как упавшая туча, чернел на снегу громадный табун коней. Скакали вокруг пастухи на мокрых, с провалившимися боками лошадях – сбивали табун в кучу. Уставшие псы вяло отпрыгивали от шаркавших в сторону коней и, потрепетав красными языками, снова кидались на них с хриплым лаем.

В стороне от всех, на взгорке, держа в поводу мохнатого киргизского мерина, стоял сам Анплей Степанович, кланялся на три стороны и дуперстно, по-кержацки, крестился.

Анплея уже никто не замечал. Набежавшие землянские мужики отпихивали друг дружку, теряя шапки, сипя и задыхаясь, расхватывали коней.

Братья Краюхины, Лука и Абрам, бородатые и приземистые, бешено дрались из-за поглянувшегося обоим солового жеребца. Абрам ударил Луку ногой под вздох, выхватил повод и сел было уже верхом на жеребца. Воспрянувший Лука успел, однако, запрыгнуть коню на круп, сшиб с Абрама треух и, высоко замахаясь, начал гвоздить его по непокрытой башке чугунным своим кулаком. Испуганный жеребец крутился на месте. Лука бил и бил, подпрыгивая и хэкая, как дровосек. У Абрама глаза сделались стеклянные, но с коня он почему-то не падал.

Коля Луценков ухитрился обрататать одной веревкой четырех коней. Лошади перегрызлись и понесли. Коля с ободранными в кровь коленями волочился следом и, высунув от натуги язык, стоном кричал:

– Не удоржу-у-у-у!

Мужики потрезвее прибежали семьями и теперь набирали коней по числу душ.

Опоздавший кулак Игнат Кургузый как встал, растопырив руки, – так и закаменел. Казалось, Кургуз собрался обнять весь табун целиком. Но табун целиком не умещался в беремя – и по черному лицу Кургуза бежали немые слезы.

...Григорий Гришкин вернулся домой, когда начало смеркаться. Привел в поводу двух анплевских лошадей. Дед Дементий появление сына не заметил. Он сидел в углу двора, за перевернутой телегой и, матерясь, рвал зубами веревочку на берданке. А перед телегой, зарывшись головой в снег, стоял обессиленный кабан с простреленным ухом.

Среди ночи заговоренные анплевские кони стали уходить из деревни. Они вышибали двери притонов, ломали загородки, прясла и с диким всхрапыванием уносились обратно в степь.

Разбуженные непривычным шумом и топотом, мужики вскакивали с постелей, поминали нечистым словом святых угодников и трясущимися руками зажигали лампы.

Малой горсткой огоньков замерцала Землянка в необозримой темной степи, и случись в эту ночь пролетать над ней какому-нибудь ангелу – он, наверное, подивился бы, услышав, как она ржет, воеет и брешет на разные голоса.

Но ангел не пролетел над Землянкой. Не стало на белом свете ангелов, как не было больше ни Бога, ни царя, о чем, видать, и заявлял сбесившийся поп Гапкин.

Землянские мужики, впрочем, про этот факт пока не догадывались.

История про черного кобеля

Упадок семейства Дементия Гришкина начался с черного кобеля. Именно после истории с черным кобелем потребовал раздела Григорий и откусил от большого хозяйства порядочный ломоть.

Может, конечно, Григорий еще раньше делиться надумал, и черный кобель был здесь вовсе ни при чем. Но как-то уж больно подозрительно все одно с одним слепилось: и раздел этот, и наводнение перед ним, и прочие разные неполадки, так что и сам дед Дементий, и жена его бабка Пелагея, и родственники, и соседи – все дружно грешили на черного кобеля. В нем видели главную причину.

А история эта – совершенно, между прочим, случайная, нелепая и отчасти даже сверхъестественная.

...Деда Дементия сгубило пустое любопытство. Он возвращался из города и версты, может, за четыре от своей деревни встретил на дороге маленького цыганенка. Цыганенок стоял у обочины совершенно один, ни табора поблизости не было, ни даже повозки. Деду бы проехать, зная повадки этих жуликоватых людей, а он остановился.

– Тпру! – натянул вожжи дед. – Ты чего это здесь один делаешь? Иде тятка-мамка?

Цыганенок важно заложил руки за спину, прищурился на дедова коня и, пропустив мимо ушей вопрос насчет тятки-мамки, сказал:

– Ну что, отец, – сменяем?

– Ах, туды твою в мышь! – изумился дед Дементий. – Чем же ты со мной меняться хочешь? На тебе вон порток даже нет!

Цыганенок вставил в рот два пальца и свистнул.

Из кустов широкой рысью выбежал черный кобель. Был он таких неправдоподобных размеров, что деду, глядевшему против солнца, показалось сперва, будто бежит теленок.

Лошадь испуганно всхрапнула и попятилась.

Бесстрашные дедовы собаки – Ласка и Вьюнок – скуля, попрыгали на телегу.

– Это что же... – сказал потрясенный дед Дементий. – Это ведь... на нем, на черте, возы возить можно... Он ведь медведя загрызет – пустое дело...

Завязался торг. Нахальный цыганенок просил за кобеля лошадь. Дед серчал, плевался, несколько раз подбирал вожжи, делая вид, что собирается уехать.

В конце концов цыганенок уступил – согласился взять обеих дедовых собак и кiset табака – в придачу.

Обессилевших со страху Ласку и Вьюнка дед переловил и связал одной веревкой. Кобель же – удивительное дело! – сам с готовностью побежал за телегой и ни разу даже не оглянулся на своего бывшего хозяина.

Дед Дементий ехал домой и радовался сделке. Одно только его чуть-чуть смущало. Кличка у черного кобеля была какая-то нерусская. Звали его на цыганский манер – Герка.

Так оно все случилось и произошло. В общем-то, довольно обыкновенно. Только в первый день черный кобель произвел в деревне некоторую панику: перепугал до смерти старух и ребятишек, которые в этот момент на улице оказались. Отцы ребятишек, между прочим, повыбегали, хотели намять деду Демке бока за такие штуки, но при виде Герки стушевались и отступили.

А дальше все потекло ровно. К Герке мало-помалу привыкли. И он себя ничем особенным не проявлял до поры. Ну собака и собака. Только что ростом раза в три больше самой крупной. И жрет, конечно, в три глотки. А больше – ничего.

И вдруг черный кобель резко вмешался в ход жизни...

Деда Дементия сыновья – Прохор и Григорий – доживали последние дни на пашне. Собрались уже домой, но тут пропала у них рыжая кобыла. Рыжуха плутала где-то больше суток и только вечером на другой день пришла к заимке. К хвосту у нее был привязан ременным недоуздом заостренный с одного конца кол. И с таким расчетом он был привязан, чтобы при каждом шаге тыкать лошадь в задние ноги. Ляжки у Рыжухи оказались сплошь исклеванными и сочились кровью.

Братья Гришкины недоуздок, конечно, сразу же опознали. Никому другому не мог он принадлежать, кроме их соседа по заимке Игната Кургузого. А узнав недоуздок, представили себе и картину – как оно все было: забрела, видать, Рыжуха на полосу Игната, объела там копну какую-нибудь; Игнат ее поймал, сутки проморил голодом (все думал, волчья душа, как зло выместить, – и вот придумал).

У Прохора при виде такого паскудства глаза закипели. Схватил он вилы, приставленные к землянке, и вгорячах заявил:

– Пойду заколю его!

– Не трожь! – сказал Григорий. – Сам приедет. Кургуз нитки своей чужому не оставит – не то что уздечку. Приедет – наплюй мне в глаза.

И все же, когда Кургуз подъехал верхом к заимке, братья на момент оторопели. И ждали будто, что заявится, но в душе не могли как-то поверить в подобное нахальство.

– Тут, слышь-ка, недоуздок мой должен где-то быть, – буркнул Игнат.

Прохор только головой молча повел: возьми, дескать.

Кургуз слез на землю и подобрал недоуздок. И обратно вскарабкался на коня. И поехал.

А Прохор с Григорием все еще стояли, распахнув рты.

Вот тогда черный кобель прыгнул. Он прыгнул мимо присевшего от неожиданности Прохора, ухватил Кургузову лошадь за хвост, под самую репицу, уперся всеми четырьмя лапами и остановил ее.

Дальше все происходило молча и как бы само собой. Игнат кувыркнулся с коня. Прохор – словно кто толкнул его в спину – сделал три падающих шага и лег животом на голову Игната. Григорий подбежал и выдернул у него из рук недоуздок.

Счастье Кургуза, что порол его Григорий поверх неснятых штанов. Иначе пришлось бы ему задницу по лоскуткам собирать. Потому, что Григорий остервенился и бил его до тех пор, пока у самого глаз не замутился, пока сослепу не начал промахиваться и хлестать по Прохору.

Только после этого братья отпустили Кургуза.

Отпустили, продышались маленько и враз, будто их кольнуло что-то, отыскивали глазами черного кобеля. Черный кобель, облитый лунным светом, неподвижно, как идол, стоял на крыше землянки и, свесив голову, смотрел вниз на людское копошение. И показалось вдруг братьям Гришкиным, что черный кобель насмешливо скалится. Прохор и Григорий, не стовариваясь, кинулись запрягать измордованную кобылу.

Потом всю дорогу они молчали; рассыпая табак, крутили дрожащими руками сигарки и опасно косились на бежавшего за телегой загадочного зверюгу.

Подозрения их насчет черного кобеля не рассеялись ни на другой день, ни после. По деревне скоро побегал слух про то, что братья Гришкины отвозили Игната Кургуза. Причем непонятно было, кто этот слух пустил. Сами братья побереглись хвастаться этим делом. Кургуз тем более помалкивал, а в Землянке знали, оказывается, всю подноготную. Называли даже место возле речки Бурлы, где будто бы спешившийся Игнат тайно замывал штаны.

Уважение к Кургузу в деревне сильно пошатнулось. Бабы, при встрече, отворачивались и хихикали. Мужики делали вид, что норовят заглянуть сзади, и сочувственно чмокали губами.

Осмелела даже соседка Кургуза, вдова Манефа Огольцова, до этого случая боявшаяся крутого Игната как огня.

На Покрова Игнат заколол здорового кабана. Тетка Манефа, никогда своей скотины не державшая, взяла холщовый мешок и отправилась к соседям.

Семейство Кургузов сидело за столом – вокруг сковороды с дымящейся свежениной.

– Хлеб-соль, – поздоровалась Манефа.

– Едим, да свой, – ответил Кургуз, не переставая жевать.

– Вот пришла, – сообщила Манефа.

– Вижу, что не конная приехала, – скривился Игнат.

– Свининкой-то поделишься? – тряхнула мешком Манефа.

– Купить, что ли, надумала?

– Зачем купить? Небошь, ты и так отрубись. Слыхал, поди, какие дела: теперь ведь у нас твоё-моё, всё наше.

– Твоё-моё?! – затрясся Игнат. – Я, значит, выкормил, а ты рот разеваешь?! На! – Он вскочил со скамьи и распахнул на груди рубаху. – Ешь! Рви меня зубами!

Манефу Огольцову как ветром сдуло. Но испугалась она не шибко, не как раньше, бывало. Она, прямо с мешком, заявила в сельсовет и там сказала:

– Сосед мой, Кургуз Игнат Прокопыч, кабана заколол.

В сельсовете тогда сидел фронтовик Мудреных Ефим, вернувшийся с германской войны на деревяшке.

– Ну? – спросил Ефим хриплым от самосада голосом.

– А я без мяса сiju.

Ефим притолок коричневым пальцем табак в трубке и опять спросил:

– Ну?

– Да ведь у нас теперь твоё-моё, – пояснила Манефа. – Пиши бумажку, раз ты совецка власть, – пущай он мне мяса отрубит.

– Ты, Огольцова, – сказал Ефим невпопад, – когда самогоном торговать бросишь? Смотри, приравняем к злостному классовому элементу – только ногами сбрыкаешь!

Так тётка Манефа дармового мяса и не получила.

Что же касается семейства Гришкиных, то им происшествие на заимке сначала вроде бы пошло на пользу. К предпоследней дочери деда Дементия Нюрке посватался неожиданно Лёнька Меновщиков. Дед Дементий, правда, засомневался. Жене и девкам он сразу сказал:

– Не будет с этого добра. Не будет добра, говорю – что вы, кобылы, завзбрыкивали!

Дело в том, что Лёнька Меновщиков в прошлом году для смеху погулял маленько с некрасивой Нюркой, а потом испортил ее и бросил. Григорий грозился после этого зарезать его, но здоровенный Лёнька только похохотывал и бесстрашно ходил по деревне, заломив шапку. Деду же Дементию вышли большие хлопоты. Раза четыре, наверное, Гришкиным мазали ворота дегтем, и дед по утрам, на глазах у всей улицы, отскабливал его японским тесаком.

А теперь Лёнька сватался. Говорили, будто мать его, узнав, что Гришкины ребята чуть не до беспамятства засекли Игната Кургуза, на коленях стояла перед дураком Лёнькой – уговаривала взять Нюрку замуж.

Потому дед Дементий и сомневался.

Но в доме поднялся страшный бой, Нюрка засобиравалась топиться – дед плюнул и согласился.

И тут опять впутался в события черный кобель.

Меновщиковы готовились к свадьбе – лепили пельмени. Лепили всем семейством: и мужики, и бабы, и ребятишки – пельменей требовалось много. Не лепил только дед Лёньки, глава семейства, Матвей Куприянович Меновщиков. Его, из уважения, освободили от мелкой работы. Дед поэтому носил противни с готовыми уже пельменями в сарай – выбрасывал их, как говорится, на мороз, чтобы они маленько схватились.

Матвей Куприянович унес семнадцать противней по двести штук на каждом, а с восемнадцатым спросил себе лучину – побоялся в потемках передавить отнесенные раньше пельмени. В дверях сарая дед зажег лучину и поднял ее над головой. Изумленному взгляду его представился ряд очищенных под метелку противней. А в дальнем углу сарая, вывалив язык, сидел обожравшийся Герка. Раздувшееся от пельменей пузо его лежало на земле.

Матвей Куприянович заплакал.

Герка же тяжело разбежался по грохочущим противням, ткнул деда Матвея головой выше колен, опрокинул и скрылся.

Свадьба расстроилась. Меновщиковы мужики – Иван Матвеевич, свояк его, шурин и два старших сына, – похватав что под руку попало, прибежали к сватовьям – убивать черного кобеля. Дед Дементий сидел на печи, свесив босые ноги, и Меновщиковых мужиков ничуть не испугался.

– Ну, иди, – сказал он Матвею. – Иди – имай его... Эх ты... Твой кобель, туды твою вмышь, девку у меня испортил – не то что пельмени. А я за ним со стежком не гонялся.

Все же воротившегося чуть свет Герку Дементий отхлестал чересседельником. Не то чтобы ему жалко стало меновщиковских пельменей. Нет. Просто он сам не одобрял пакостивших собак. К тому же деда Дементия допекли бабы. Всю ночь в его доме стоял такой рёв, что дед не выдержал, плюнул, сгреб тулуп и пошел досыпать в пригон, к лошадям. Тут ему и подвернулся Герка.

Потом дед Дементий казнил себя за несдержанность, локти кусал, да уж поздно было.

Дело в том, что на другой день ударила в Землянке и окрестностях невиданная оттепель.

Снег, какой был, растаял, побежали ручьи, речка Бурла, не успевшая встать, разбухла и выплеснулась из берегов.

Распутица отрезала в Землянке заезжего кооператора. Кооператор был молодой, но уже нервный. Он ругался и требовал сейчас занарядить ему подводу. Ефим Мудреных, костыля на деревяшке, обошел с десятков дворов, но никого из мужиков уговорить не смог. Тогда он явился к деду Дементию и за Христа ради стал просить его увезти начальство. Дед Дементий согласился. Запряг Рыжуху, принял кооператора и поехал.

До летнего брода через Бурлу они доехали спокойно, а возле речки кооператор заволновался.

– Ты куда же правишь? – стал говорить он деду. – Давай заворачивай в объезд, через мост! Тут мы не проедем!

Дед и сам видел, что, пожалуй, не проехать. Очень уж рано уходил под воду размытый след. По травке уходил, а не по песочку, как день назад. Но какая-то непонятная лихость овладела дедом.

– Попробуем, гражданин-товарищ, – беспечно сказал он. – Гляди-ка, кобель мой уж на том берегу отряхается.

– Какой кобель?! – испуганно зашарил глазами кооператор. – Какой еще, к черту, кобель?! Чего ты мелешь?

– Да Герка вон, – показал кнутовищем дед. – Ишь ты, сукин кот! Проворный какой сделался. Почаще тебя, туды твою вмышь, чересседельником учить надо... Не бойсь, – обернулся он к седоку. – Раз кобель перебег – глядишь, и мы не утопнем.

Не доехали они и до середины реки, как вода начала заливать телегу. Кооператор вскочил в рост и двумя руками поднял к подбородку портфель с бумагами. В следующий момент вода пошла поверх телеги, и кооператор с ужасом почувствовал, как ноги его в латаных сапогах захолодели.

– Куда же ты, змей! – плаксиво закричал он и по-дореволюционному ткнул деда взашей. – Утопить хочешь?!

Дед Дементий молчал, вытаращив глаза, и тщетно пытался удержаться за вожжи. Его сносило – сапоги скользили по телеге. Рыжуха уже плыла в оглоблях, по-собачьи вытянув шею, фыркая и захлебываясь.

...На берег дед выбрался один – без лошади, телеги и седока. Огляделся. Сизая вздущаяся река была пустынна. Только на противоположном берегу – у деда даже сердце ёкнуло – как ни в чем не бывало сидел черный кобель Герка.

Кооператора вынесло течением на Ерофееву отмель, слава богу, живого. Кобыла же с телегой безвозвратно ушла на дно.

Сам дед Дементий заявился домой мокрый до нитки, аж с бороды у него текло. И такие дикие у него были глаза, что домашние, от греха подальше, не стали деда пока ни о чем спрашивать.

Герка прибежал только ночью. Прибежал и завыл.

Дед Дементий лежал на печи под тулупом, слушал этот жуткий вой, и брала деда оторопь.

Потом он все же поднялся, обул для бесшумности пимы, снял с гвоздя берданку и крадучись вышел.

Серая ночь стояла на дворе. Серой была подветрившая земля, серым казалось небо. На сером заборе по-кошачьи сидел страшный кобель Герка и, задрав морду, выл.

«Господи, благослови – туды твою в мышь!» – мысленно сказал дед Дементий, быстро приложился и спустил курок. Верная берданка первый раз за все время дала осечку. Дед замер. Теперь, чтобы открыть затвор и перезарядить ружье, надо было долго разматывать веревочку.

Черный кобель, услышав щелчок, перестал выть.

И тут на деда Дементия стало находить. Он вдруг увидел, как Герка поворотил морду и сплюнул. Цвыркнул сквозь зубы, как плюют мужики, накурившись самосаду. А потом лениво пробежал несколько шагов по забору и спрыгнул на улицу.

Дед Дементий после этого случая захворал. Прямо не слезал с печи. Лежал там, свернувшись калачиком, и поглядывал из-под тулупа нездорово блестящими глазами. Иногда только он подманивал слабым пальцем кого-нибудь из сыновей и шепотом говорил:

– Герка-то, а?

– Что, тятя? – участливо спрашивали сыновья.

– Нечистая сила! – мигал дед.

Этими днями и забрел к Гришкиным прохожий человек. Странник. Был он какой-то ненастоящий, слепленный будто: одежда простая мужицкая, а руки тонкие. Странник пил чай и сахар не прикусывал, а бросал в стакан и размешивал черенком ложки. Лицо вроде русское, а когда разговаривал, язык ломал на цыганский манер.

– От чаек дак чаек! – нахваливал он. – Кирпичный, батенька, чаек – сразу видно. Кирпичный я люблю. Вот малиновый мне на дух не надо.

Бабка Пелагея не утерпела и сказала:

– Да ведь ты малиновый пьешь.

– Ну?! – удивился странник. – А скажи ты – ну как кирпичный!

Потом странник вышел на двор покурить и соблазнился Геркой.

– На что тебе такая собака, отец? – пристал он к деду. – Жрет, небось, побольше лошади?

– Жрет, – сознался дед Дементий. – Не токмо свое, чужое жрет.

– Рискуешь ты с ним, отец, – пугал деда странник. – Ох, рискуешь! Вот спросят тебя товарищи: зачем такого тигра держишь, а? Кого им травить собираешься?

– Рыскую, – согласился дед. – А то как же.

– А ты продай его мне. Я хорошие деньги заплачу.

– Поймаешь – бери за так, – ответил дед.

– Зачем его ловить, – сказал прохожий. – Ловить мы его не будем. – И с этими словами он смело пошел на черного кобеля.

И тут случилось удивительное: Герка заюлил хвостом, лег на пузо и сам пополз к ногам странника.

Так они и ушли со двора: впереди этот чертов цыган, а за ним – стелющийся по земле черный кобель.

В деревне после решили: черный кобель был нечистый. Это, мол, он часа своего ждал – когда за ним оттуда пришлют. Вот и прислали. Еще потому так твердо решили, что странник, пока шел улицей, все словно бы приплясывал и бормотал чего-то себе под нос – видать, заговор.

... Что бормотал странник, знали только ребяташки, бежавшие рядом.

– А, батенька мой! – повторял он, совсем уж дурашливо ломая язык. – Это сколько же мохнашек получится! Мохнашек-то сколько, батенька мой...

Как Гришка ходил на войну и что из этого вышло

Сбивать землянских мужиков в партизаны приехал учитель из Бугров – неулыбчивый головастый человек, с большой лысиной и в очках, закадычный приятель поповского племяша Вякина.

Землянские на агитацию приезжего поддались легко. Кой-чего они про это дело знали. Слух прошел, что мужики из соседней деревни Тиуновки «партизанили» уже в городе. Прожили там три недели и катались будто бы как сыр в масле: лошадей кормили как на убой, сами не просыхали с утра до вечера, брали в лавках любой товар задаром, бархат на портянки рвали да ещё домой разного добра понавезли.

Первым прислал к учителю своих сыновей – двух крепких звероватых мужиков – Анплей Степанович. Сыновья были снаряжены с кержацкой основательностью. Под ними играли сытые кони в седлах, на самих была крепкая одежда, а за спинами – по новенькому карабину.

По первым двум добровольцам стали равнять и остальных. Кого попало в отряд не брали. Записывали тех, кто на коне, мало-мальски прикрыт и с оружием: с ружьем ли, с шашкой или пикой. Войско должно было глядеться по-боевому, а не рванью и голюю.

Учитель, видя, что дело ладится, повеселел. И хотя он по-прежнему не улыбался, но время от времени с довольным видом поглаживал свою необъятную лысину – сразу двумя руками. Правда, маленько досаждал ему плотник Василий Комар. Несколько раз он подкарауливал учителя, хватал за рукав и начинал запальчиво критиковать его программу. Василий в деревне числился большевиком. Приехал он сюда совсем недавно и ехал не один – вез откуда-то из-под Тулы готовую коммуны. Но в пути переселенцев покосил тиф, доехало только пять поредевших семейств, ютились они пока по землянкам и баням у добрых людей, все поголовно батрачили и трудно, с натугой строились.

Худой бритый Василий крутил руками, наскакивал на учителя, кашлял, тонко кричал. Учитель слушал, наклонив голову, а потом терпеливо объяснял:

– Вы местных условий не знаете. Здесь мы должны опираться на крепкого мужика.

Тогда Василий, плюнув в сердцах, бежал к Ефиму Мудреных – требовать, чтобы тот вмешался в ход событий.

Мудреных, однако, тоже его не поддерживал.

– Ты, Василий, грамотный шибко, – говорил Ефим. – И тебе грамота глаза застит. Этого головастого нам не переучить. Может, его Колчак переучит, да и то вряд ли. Так что не крутись ты возле него – не трать характер. Лучше за туляками своими гляди – чтоб им какая моча в голову не стукнула.

Надумал податься в отряд к учителю и старший сын деда Дементия Григорий. Он пришел к отцу и, оставив в угол единственный свой волчий глаз, сказал:

– Дай коня.

– Ты кого, туды твою в мышь, спрашиваешь? – ощерился дед Дементий. – Меня или, может, вон печку?

Дело в том, что Григорий никогда никого не звал по-людски: ни отца, ни мать, ни жену, ни соседей. Вместо имен он обходился такими словами, как «эй», «гляди», «слухай», «держи», «цыц», «подай». С детьми родными он вовсе не разговаривал. А если какой-нибудь из них, замешкавшись, попадался отцу на дороге, Григорий молча перепоясывал его кнутовищем и брезгливо плевал в сторону. Дед Дементий никак не мог привыкнуть к этой собачьей манере сына и всякий раз обижался.

– Тебя, кого еще, – покривился Григорий.

– Своих полон двор, – напомнил дед.

Своих коней у Григория было действительно побольше, чем у отца. Но выбирал он их не по стати, не по красоте и росту, а по какой-то одному ему видимой нутряной жиле – чтобы пусть неказисты были, но тянули бы и хрипели, как хозяин, – до упаду. И в этом смысле деда Дементия, при среднем достатке державшего лучшего в деревне жеребца, Григорий не одобрял. Зачем, дескать, мужику такой конь? Разве только – заложить его в санки да поехать для форсу под окнами Анплея Степановича или страстного лошадника попа Гапкина.

Теперь же Григорий просил у отца коня, чтобы не ударить в грязь лицом перед сынами Анплея Степановича и другими богатыми мужиками. И даже соглашался оставить в залог двух чалых кобыл, которые славились тем, что, как верблюды, могли по трое суток обходиться без корма и выдергивали любой воз из какой хочешь грязи.

Отторговав жеребца, Гришка потребовал также и берданку.

– Не дам, – твердо сказал дед Дементий. – Ну тебя к черту. Отстрелишь последний глаз – а мне грех на душу. Ты, небось, туды твою в мышь, не знаешь, с какого конца она заряжается.

Вместо берданки дед Дементий выдал Григорию старый японский тесак, настолько тупой, что им, пожалуй, даже курицу зарубить было невозможно. Тем не менее дед сильно переживал, долго в ту ночь не мог заснуть, всё ворочался и думал: «Заколется, сукин сын! Пустит детей по миру».

К концу четвертого дня отряд сформировали. Мужики по этому случаю напились самогонки, дотемна скакали по деревне, размахивали шашками и палили из ружей.

Григорию палить было не из чего, но всеобщая стрельба так его накалила, что он слез с коня и остервенело принялся рубить тесаком чей-то плетень. И рубил до тех пор, пока тут же, у плетня, не повалился и не заснул.

В этот вечер отряд понес и первую потерю. Здоровенный хохол Охрим Задняулица залез на качели, не убранные с Пасхи, и со страшной силой раскачался.

– Упаду! – дурашливо кричал он. – Упаду!

А потом и правда упал, ударился грудью о стылую землю и убился насмерть.

Утром отрядники кое-как собрались, пошумели, порядили и выработали решение: всем ехать в город, чтобы там, на месте, перевстреть Колчака. План у них был такой: они, значит, внезапно захватывают станцию; отвинчивают рельсу и ждут; и как только поезд с Колчаком останавливается или – еще лучше – слетает с катушек – тут же атакуют его всеми наличными силами.

Историю этой боевой операции в Землянке помнят до сих пор.

Отряд учителя из Бугров был разбит наголову в первой же схватке. В чем-то командир допустил промашку. Возможно, зря он не послушал Василия Комара, критиковавшего его программу опоры на крепкого мужика. Возможно... Но безусловно, что главную стратегическую ошибку учитель совершил днем, когда отряд останавливался в Буграх. А именно: учитель не позволил мужикам опохмелиться. Он, как сам непьющий, не мог, конечно, знать, что если человека, который, допустим, с перепоя, вовремя не подремонтировать, то он к вечеру начнет каждого пенька бояться. Это его и подкосило.

Словом, когда глубокой ночью отряд скрытным порядком подступил к станции, у многих штаны уже промокли от холодного пота. Правда, маленько их ободрили разведчики, которых учитель высылал вперед. Разведчики вернулись и доложили, что рельсы, дескать, лежат свободно, никем не охраняются и отвинтить любую из них – пустое дело. Только, если, мол, оттащить в сторону – надо навалиться всем гуртом. Рельса, по всему виду, тяжелая – вдвоем или даже вчетвером её не спихнешь.

Тогда они двинулись вперед уже смелее. Передние успели даже пососкакивать с лошадёй, стали шарить по земле – искать что-нибудь подходящее, чем можно подковырнуть рельсу.

В этот момент раздался выстрел...

Потом уцелевшие доказывали, что по ним ударили из орудия. Однако хорошо известно, что в описываемое время крупных воинских частей в городе не было. Тем более не было артиллерии. Скорее всего, это стрельнул с перепугу станционный сторож.

Задние, решив, что угодили в засаду, поворотили коней.

Передние увидели, что их бросают, и тоже кинулись в седла.

Дальше произошло уж совсем обидное недоразумение. Передние (бывшие задние) обнаружили вдруг за спиной погоню. Гнавшиеся за ними конники кричали: «Стой!.. Куда!.. Назад!..» – и матерно ругались.

Началась невиданная скачка.

Всего пробежали они этой ночью на взмыленных конях восемнадцать верст. И, наверное, скакали бы дальше, да под утро на пути им попалось озеро Тополье. Вот в это озеро, задернутое первым ледком и припорошенное снегом, они с разгону и залетели. И стали в нем тонуть. Многие потонули сами, а многие утопили коней. В том числе утопил отцовского жеребца и Григорий.

Бугровский учитель, как более выдержанный и скакавший все восемнадцать верст последним, наблюдал гибель своего войска с берега. Бил он себя кулаком по лысой голове и горько каялся.

А через неделю в Землянку заявился карательный отряд. Привел его моложавый, тонкий, как девка, голубоглазый офицерик. Офицер велел согнать ему на площадь стариков и стал требовать выдачи зачинщиков. Сам он, на рысьих ногах, расхаживал внутри образовавшегося круга и, для устрашения, видать, вертел сабелькой. И чем больше вертел, тем больше глаза его светлели, заволакивались белесым дымком.

– Ну! – резко кричал офицер. – Называй зачинщиков!.. Ну!

Старики, потупив бороды, молчали.

Случайно в круг забежала чья-то шалавая собака. Офицер, почти не глядя, махнул саблей и рассек ее пополам. Удар был такой скорый, что собака еще сажени полторы протрусила целая и только потом распалась на две части.

Но даже этот наглядный пример стариков не поколебал. Зачинщиков они не назвали.

Выдал зачинщиков поп Гапкин. Переписал их всех по именам и отнес бумагу карателям.

Странный, однако, это был список. Не значились в нем ни сыновья Анплея Степаныча, ни другие добровольцы, ни Григорий Гришкин, ни даже так и так убившийся, а значит, и безответный Охрим Задняулица. Учитель из Бугров, правда, был. Но сразу за ним шел Комар Василий, потом – четверо его деревенских, которые тиф пережили, дальше Мудреных Ефим, братья Дрыкины – Игната Кургузого работники, глухонемой пастух Силантий Зикун, а также сосед Гапкина сапожник Иван Абрамыч – горький пьяница и матерщинник.

Василий Комар достигал пол в новой избе, когда за ним пришли. Кроме верстачка и горы свежих стружек, в избе пока ничего не было.

Мог Василий, наверное, вышибить окно и побежать, но то ли он не догадался второпях, то ли, наоборот, сообразил, что подстрелят его как зайца: дом стоял на голом месте, ни огорода пока что, ни кустика вокруг. Да и увидели они с женой колчаковцев очень поздно.

Так что Василий спрятался на русскую печь, а жена завалила его стружками.

Успела кинуть туда же рубанок и топор – будто и не было мужика в доме.

Пустую избу колчаковцы обыскивать не стали. Кого тут искать – все от стены до стены видно. Один из них только заинтересовался стружками и стал ширять в них штыком.

– Проширяемся тут до ночи, в бога душу! – сказал другой и чиркнул спичкой.

Сухие, как порох, стружки вспыхнули сразу. Василий рванулся с печи, но солдаты наставили штыки и удержали его.

Страшными нечеловеческими глазами смотрел Василий из огня. Не кричал – крик запекся у него в горле. Только медленно обвисал на штыках и чернел.

Мудреных Ефим успел из деревни скрыться. Ушли с ним также братья Дрыкины и однополчанин Ефима Андрей Филимонов.

...Остальных зачинщиков, по списку попа Гапкина, били на площади шомполами. Принародно. На все это землянские смотрели уже как сквозь туман. Не молились и не плакали. Смерть Василия Комара ужаснула их до немоты.

Много чего видела Землянка. Выходили здешние мужики по праздникам стенка на стенку, улица на улицу. Ломали в свалке ребра и скулы. Озверев от самогонки, хватались за стежки и оглобли. Не раз случалось, что забивали в Землянке кого-нибудь и до смерти. Но вот такого – когда безвинного человека живьем жгут – в деревне не знали.

После этих событий и потянулись землянские мужики в партизаны.

Но не сразу. Сперва объявился в деревне Мудреных Ефим с небольшим отрядом. Мудреных объявился, а поп Гапкин пропал. Сбежали куда-то сыновья Анплея Степановича. Самого Анплея допрашивали на том месте, где офицер-каратель пытал землянских стариков про зачинщиков.

Мудреных сидел в ходке, выставив, как пулемет, прямую свою деревяшку, и спрашивал:

– Где твои кони, Анплей?

– Побойся бога, паря! – крестился Анплей Степанович. – Когда еще миру роздал. Мужички, скажите!

Но мужики, запомнившие, как надурил их Анплей своим подарком, только сдвигали на глаза шапки.

– Где кони, Анплей? – опять спрашивал Мудреных.

– Колчаку он их угнал – вот где! – оскаливаясь, кричал Пашка Талалаев, бывший анплевский лизоблюд. Теперь Пашка неотступно, как пёс, крутился возле Ефима Мудреных. – Колчаку – я знаю!.. Ефим Митревич, дай я ему кишки выпущу!..

Из степи, от киргизов пригнали остатки анплевских коней, и Ефим стал формировать новый отряд. Вот тогда землянские и потянулись. И хоть собирались недружно, но если надумывали, то шли деловито и строго.

Дед Дементий и тот не удержался – пострелял маленько вокруг села из своей берданки. И так хорошо пострелял, что, когда отряд двинулся от родных мест, Мудреных Ефим и другие командиры стали сманивать деда с собой – будешь, мол, учить у нас новобранцев. Дед вгорячах согласился. Но скоро обнаружилось, что учитель он никудышный – нервный и бестолковый. На первых же стрельбах дед Демка побил хворостиной многодетного партизана Кузьму Прилукова, за что был осужден и уволен.

Остается еще сказать, что первой военные действия против колчаковцев открыла в Землянке вдова Василия Комара Евдокия. Через несколько дней после смерти мужа (каратели еще из деревни не ушли) несла она с реки выполосканное белье в тазу. И тут за ней решил приударить один из колчаковцев. Стал за круглые локти трогать, по плечам гладить.

– Ну-ка, кавалер, поддержи таз, – мирно сказала Евдокия.

Колчаковец, выпятив грудь колесом, принял таз. Евдокия взяла лежащий поверх белья тяжелый валеk и сплеча таянула ухажера в левый висок. И так она расчетливо это проделала, что еще успела подхватить из рук повалившегося колчаковца таз – чтобы белье в пыли не вывалялось.

Были этому делу свидетели. Как раз через лужок шли два солдата от Манефы Огольцовой, несли четверть первача. Тот, который держал самогонку, увидев, как Евдокия приласкала их товарища, выронил бутыль. Самогонка из лопнувшей бутылки вытекла, но не разбежалась мелкой лужей, а, к счастью, вся собралась в ямку. И там стояла. Выпавший ночью снежок растаял, земля, видать, досыта напилась влаги – не хотела больше принимать.

– Уйдёт! – сменившись с лица, крикнул первый и пал на четвереньки.

Второй срочно к нему присоединился.

В общем, дули они эту самогонку из луночки, стучаясь лбами, пока им трава в рот не полезла.

Первый солдат, как более проворный, вылакал больше и в результате сгорел. Выходить его ничем не смогли. Второй выжил, но временно повредился мозгами и никак не мог припомнить: сколько же их из лунки хлебало – двое или трое.

Так что крестника Евдокии начальству тоже пришлось списать на самогонку.

Смерть деда Дементия (Рассказ грустный, а поэтому короткий)

В этот день Татьяна недосмотрела – и рябенкий цыпленок утонул в бельевом корыте. Собственно говоря, Татьяна не то чтобы недосмотрела – она тяжелая была, ходила последние дни, и когда этот паскудный цыпленок скаканул в корыто, у нее не достало проворства выхватить его обратно. И он утонул.

– Ах ты, раззява! – закричала на сноху бабка Пелагея. – Ах ты, телка рязанская, голодранка! Ах ты, курва приبلудная! Ты цыплаков мне топить?! Наживать добро – тебя, кособокой, нету!.. – С этими словами бабка Пелагея схватила скалку и хлестанула ею Татьяну по плечу. Правая рука у Татьяны повисла плетью.

– Ведьма! – горько сказал отдыхавший на печи дед Дементий. – Ведьма, туды твою в мышь! – И выдернул из-под головы валенок. – Вот я тебе, ведьме, бока-то обровняю!

Дед Дементий учил жену не вожжами, как другие мужики, а исключительно валенком. Бил он ее, по мягкости характера, голяшкой, отчего ущербу бабке Пелагее не было почти никакого, а пыли и крику получалось много. На этот раз, правда, сильно осерчавший за беременную сноху, дед Дементий побил бабку головкой валенка. Пыли получилось меньше, а крику больше.

Однако распалившемуся деду и этого показалось мало. Он выскочил на двор, запряг в пароконную бричку двух чалых кобылок, положил в задок бочонок с дегтем и выехал за ворота.

– Поживи тут без меня! – сказал он жене. – Помотай сопли на кулак!

Бабка Пелагея, привалясь к воротному столбу, для порядка голосила.

За бричкой – хвост трубой – весело бежал жеребенок.

Сын деда Дементия Прохор наблюдал за всем этим с угрюмым любопытством. Стоял, руки в брюки, словно бы посторонний, – ни отца не уговаривал вернуться, ни мать не утешал.

– Прощка! – жалостливо крикнул дед Дементий. – Жеребенка-то прибири! Он те пригодится, туды твою в мышь!

Обыкновенно дед после очередного скандала с бабкой уезжал аж за самую околицу. Там он треножил кобылок, часа два-три курил на травке, отходя душой, и к ночи возвращался. На этот же раз дед далеко не уехал. Только он поравнялся с лавкой, как в тележный скрип вплелся посторонний звук – резкий и захлебистый. Звук явно доносился с дедовой усадьбы. Дед переменялся с лица и стал круто заворачивать, матерясь и охаживая кнутом утонувших по самые уши в хомутах кобыл.

Дед Дементий не ошибся. Голос принадлежал его только что народившемуся внуку Якову.

...Сразу же события круто изменились. Изменились в лучшую сторону. Дед Дементий помирился с бабкой. Бабка Пелагея так расчувствовалась, что зарубила еще двух цыплят – специально, чтобы варить из них Татьяне похлебку. Этот небывалый факт в доме Гришкиных, где бабам даже по престольным праздникам давали одно яйцо на двоих, Татьяну настолько потряс, что она туг же простила бабку Пелагею.

По случаю рождения внука дед Дементий созвал гостей и выставил угощение: две четверти самогону и ведро квашеной капусты. Гости пили, ели, плясали и вместе с хозяином забыли, что утром надо везти сдавать хлеб. Да так забыли, что прогуляли еще полный день. Прохор, правда, не забыл. Он сам был назначенный от сельсовета отвечать за десять подвод, а поэтому, цепляясь за плетни, кое-как обошел свои дворы, всем стукнул в окошко и напомнил. Забыл Прохор только одно: хозяйева как раз пили у него в доме самогонку. Но это бы все еще ничего, не случись в избе у деда Дементия анархии. Сват его, Егор Ноздрев, который все время мучил гармошку и глухо бормотал одну и ту же припевку:

Ширянай, купырянай, ковырянай, рябой,
Хватить, довольно, погуляли мы с тобой!.. —

этот сват под конец второго дня одичал вдруг и, растянув мехи, рывкнул:

Как Мунехин да Ерохин
Плетуть лапти языком!
Не було б такого счастья —
Не ходили босяком!

Дед Дементий, хотя тоже и пьяный был, сообразил, однако, что добром это не кончится. Так оно и вышло. Утром товарищи Мунехин и Ерохин прогнали по улицам подводу. Особенно непримиримо выглядел моложавый товарищ Мунехин. На подъемах он забежал сбоку и молча хлестал лошадь кнутом, и глаза у него были белые. Возле ворот нетчиков они останавливались и приколачивали тяжелые, полсажени на полсажени, доски. Выбор досок был небогатый:

«ЗЛОСНАЙ КУЛАК МИРОЕТ»
«ЗЛОСНАЙ ПАТКУЛАЧНИК».

Деду Демке они повесили злостного подкулачника.

Дед воспринял доску болезненно. Накричал даже на Прохора, чтобы тот оторвал ее в такое дышло. Никак он не мог поверить, что советская власть в подкулачники его зачислила.

– Мунехин это зачислил, сукин кот! – шумел он. – У него ведь всякий кулак, кто картошку чищеную ест! А где он был, когда мы с Ефимом Мудреных за эту советскую власть жизни клали?!

В словах деда Дементя, хотя и вгорячах сказанных, кое-какой резон все же имелся. Жизнь за советскую власть они с Ефимом не сложили. Мудреных, правда, еще два раза ранен был, а сам дед целый вышел, даже царапины не получил. Но что касается товарища Мунехина, он, верно, по малолетству воевать не мог, хотя сознательным уже тогда был. Мунехин с родным отцом не ужился, пацаном ещё пошел работать по чужим людям, и как нанимался к какому мужику, так сразу объявлял, что будет считать его кровососом. Из-за этой своей занозистости он подолгу нигде не держался и уходил назад в чем пришел. Теперь товарищ Мунехин шерстил землянских мужиков, которые покрепче, безо всякой пощады.

Товарищ Ерохин сам был в трудном положении. Он, как человек в деревне новый и местных условий не знавший, при народе с Мунехиным не схватывался – полагал это дело неполитичным. С глазу же на глаз, по слабости характера, не умел его переупрямить. А не переупрямив, считал себя обязанным ходить за след и тоже строжиться, чтобы какую-то линию все же соблюсти.

Ефим же Мудреных то и дело мотался по разным важным делам, больше в городе жил, чем дома, и теперь тоже отсутствовал – учился где-то на курсах.

Доску дед Дементий все же не оторвал – поопасался идти на открытый бунт. Но терпел он ее только днем, а на ночь снимал. Выходил потемну с выдергой и, хоронясь от соседей, вырывал гвозди. А чуть свет – приколачивал обратно. На четвертые сутки, вешая доску, дед нечаянно проглотил два гвоздика, которые держал в зубах. Он поскуцнел, прислонил доску к плетню, зашел в избу, влез на печь, положил под голову валенок и стал умирать.

Умереть дед не умер, но холоду на семейство нагнал. А за снятую доску заработал себе отсидку. Приехал из районного села Бугры милиционер Ванька Синельников, посадил деда в свой ходок и увез в каталажку.

Каталажка в Буграх была самодельная, занимала четвертинку рубленого дома, в котором помещалась милиция. Изнутри, со стороны милицейской конторы, Ванька Синельников прорезал в нее окно, чтобы передавать мужикам харчи. Еще имелись в каталажке двухъярусные нары. На нижней полке валиком спали два залетных городских ворюги. Верхнюю они по очереди сдавали мужикам – за сало. У кого сала не оказывалось, тому ворюги большой деревянной ложкой отвешивали двадцать пять горячих по мягкому месту.

Если попадался норовистый арестант, который, допустим, не хотел отдавать сало, а спать соглашался на полу – такого ворюги хватили сонного, сало отымали, горячих всыпали пятьдесят и на полку уже не пускали, как несознательного.

Дед Демка, познакомившись с этой программой, сразу же отдал сало – за трое суток вперед. Варнаков этих он не испугался. Боялся дед Ваньку Синельникова: дескать, поднимешь шумиху – а он возьмет да срок и прибавит.

Вернулся дед только через неделю. На воротах его висела обидная доска: «Злоснай паткулачник».

Во дворе Прошка грузил на телегу мешки. Бабка Пелагея стояла на крыльце и надрывно кричала:

– Вези, дурак толченный! Все вези! И голодранку свою забирай, и сураза! Нечем мне его кормить!

Мира в доме деда Дементия как не бывало. Дед с безучастным видом прошел в избу и напрямиком вскарабкался на печь. В доме притихли.

– Дочка, – крикнул дед Татьяну. – Положи мне подушку!

Бабка Пелагея, охнув, села на лавку – дед просил подушку первый раз в жизни.

– Может, поешь чего, тятя? – спросила Татьяна.

Дед смолчал.

Так, молча, он пролежал на печи три дня, уставив в потолок острую бороду. А на четвертый день преставился.

Еще один день из жизни села Землянки

В доме Гришкиных все шло своим обычным порядком. Татьяна пекла на завтрак пироги (по случаю дня рождения Якова), одновременно стирала в корыте пеленки и в промежутках катала рубелем постиранные вчера мужнины исподники. Бабка Пелагея со стуком, грохотом и проклятьями моталась туда-сюда по избе, ничего ладом не делая, но во все встревала и везде мешала. «Куда ты их такие лепишь, лапти расейские! – кричала она на Татьяну. – Ить они в рот не полезут!.. Что ты зад отклячила, телка немытая, – пройтить нельзя!..» Две бабкины дочери, вековухи Нюрка и Глашка, все еще томились в горнице под пуховыми одеялами. Младший сын, бабкин любимец Серега, раньше всех налопавшийся горячих пирогов, сидел за столом и ленивыми глазами наблюдал повседневную суету, не надеясь уже, видать, что она выльется сегодня в какое-нибудь развлечение.

Однако развлечение как раз и случилось.

Годовалый Яков, молча копошившийся в углу, вдруг оттолкнулся двумя руками от сундука, переломил реденькую черную бровь, нацелился на лохань и – пошел.

– Господи, прости и помилуй! – ахнула бабка Пелагея. – Пута рубите! – и схватила тяжелый кухонный нож.

Не успела Татьяна распрямиться от корыта, как бабка тяпнула между ног внука ножом и, конечно, отсекала ему половину большого пальца на левой ноге.

Ребенок закатился в беззвучном плаче.

Кое-как Яшку утрясли, палец завязали чистой тряпкой, его самого напоили смородиновым отваром и бухнули в люльку.

Может, на этом все и закончилось бы, да бабка Пелагея решила, на всякий случай, вылить у Яшки испуг. Выливала испуг бабка на воске. Способ это был верный – половина деревенских молодых перетаскали к ней своих ребятишек. Пока бабка творила молитву, расплавленный воск застывал в ковшике с холодной водой, образуя малопонятные узоры. По этим кренделям надо было определить зверя, напугавшего малютку.

Бабка Пелагея никогда не ошибалась.

– Похоже, петух, – говорила она, к примеру. – Вон и хвост у него видать, и гребешок. – И, подняв на заробевшую молодуху строгие глаза, спрашивала: – Гонял твоего сына петух?

Побледневшая бабенка секунду-другую припоминала, ошалело тараща глаза, и сознавалась:

– Гонял, Митревна! Гонял, окаянный!

Вот против такого врачеванья и взбунтовалась неожиданно Татьяна, молчаливо сносившая до сих пор все издевки, помыкания, а другой раз и трепку.

– А ну-ка! – грубо сказала она и вырвала сына. – Ворожея нашлась! Вы мне темнотой своей дитё изувечите!

– Ты больно ученая стала! – обиделась бабка.

– Да уж какая ни на есть, а только на электричество не дую, – подковырнула ее Татьяна.

И верно, был такой грех за бабкой Пелагеей. Гостила она в городе у замужней дочери и дула там на электрическую лампочку. Дула аж до синевы и удивлялась: «Да что же это у вас за трехлинейка такая – не гаснет и все!»

Этот случай и напомнила ей теперь осмелевшая вдруг Татьяна.

Бабка Пелагея недолго пребывала в растерянности.

– Ре-е-е-жуть! – в голос закричала она и схватила скалку.

– Зю, маманя, зю! – обрадовался спектаклю Серега.

Татьяна, однако, успела перехватить скалку и, выставив ее впереди себя, сказала:

– Хватит, поизмывалась! Перестарок своих толстомясых учи! А меня не трожь!

Вековухи Нюрка и Глашка, простоволосые, в одних рубахах, выскочили из горницы, затопали ногами, завизжали:

– Маманя, бейте ее, паскуду!

– Зю, сучки, зю! – хлопая себя по ляжкам, веселился Серёга.

И начался в доме Гришкиных скандал.

В результате бабка Пелагея, Нюрка и Глашка объединенными усилиями вытолкали Татьяну на улицу. Впрочем, Татьяна не шибко и упиралась. Она подобрала узел с пеленками сына да мужниными подштанниками (единственное добро, которое вырешила ей свекровь) и подалась через дорогу, к младшему брату покойного деда Дементия Мосею.

– От, змея! – сказал дед Мосей, выслушав Татьяну. – Как смолоду была змеей, так ей и осталась... Да ты не убивайся, красавица. Занимай вон мою землянку летнюю, живи пока. А уж Прохор приедет с пашни – он им хвосты расчешет.

– Прохор расчешет – жди, – возразила Татьяна. – То ли вы Прохора не знаете. Как маманя с золовками грызть меня начинают – он шапку в охапку и долой из дому. Сроду так.

– Ну, не бойсь, – сказал дед Мосей, – не бойсь...

Дальше события начали разворачиваться совсем уж круто. К бабке Пелагее прискакал верхом на прутике белоголовый парнишка и, свистя выбитым зубом, глотая слова, с ненужными подробностями рассказал, как наехал он за овином на дядьку Егора Ноздрёва, как дядька Егор наказал ему рысью гнать сюда и передать, чтобы спешно прятали скотину.

Какие чувства и какие соображения руководили бабкой Пелагеей, осталось тайной, но после разговора с посыльным она вывела из стайки ведерницу Дуську и бегом перегнала её вслед снохе, к деду Мосею. При этом Пелагея ничего не сказала и даже ни на кого не взглянула. Только секунду-другую постояла у раскрытых ворот, сердито шмыгнула носом и исчезла.

– Сычас гром ударит, – сказал ошеломленный дед Мосей. – Сгореть мне на этом месте.

Но гром не ударил.

А спустя малое время скрипнула калитка, и во двор проник озирающийся сват Егор Ноздрёв.

– Дуська-то у вас, что ли? – спросил сват Егор. – Беда, девка! К Пелагее, слышь, комиссия заявила – излишки крупного рогатого скота описывают. Как бы они сюда не повернули. Мунехин-то уже ногами стучит – пропажу обнаружил. Вы, говорит, укрыватели, так вашу! Я вас в тюрьме сгною!..

Сразу после разговора со сватом Егором Татьяна накинула на рога Дуське веревку и, прячась по-за огородами, скорым ходом погнала бедную корову к броду через речку. Уже на том берегу Татьяна маленько отдышалась и решила, что раз выпал такой случай, то Дуську она из рук не выпустит, а лучше уведет её за четыре версты в соседнюю Тиуновку и там продаст кому попадётся, хоть за полцены.

Возвратилась назад Татьяна после обеда. У околицы поджидал её несмирившийся товарищ Мунехин. Поверх застиранной холщовой рубахи он был переkreщен португеей, которую надевал в особо важных случаях. Рядом с ним, сдвинув на глаза картуз, дымил махоркой товарищ Ерохин.

– Ну, – сказал Мунехин. – Иде корова?

– Продала, – храбро ответила Татьяна.

– А деньги куда девала?

– А деньги пропила.

– Ты, Гришкина, дурочкой не прикидывайся, – сказал товарищ Мунехин и положил руку на кобуру. – Сейчас сдавай деньги под расписку!

– Бегу, – усмехнулась Татьяна. – Не видишь – в мыле вся.

– Так, – сказал товарищ Мунехин. – Соппротивление. Будем производить обыск.

– Здесь раздеваться? – спросила Татьяна и потянула с себя кофту.

– Не озоруй! – прикрикнул товарищ Ерохин. – Пошли в контору.

– Меня свекровь из дому выгнала – гнutoй ложки не дала, – говорила по дороге в сельсовет Татьяна. – Должна я чем-то дитё кормить?

– Отвод глаз, – убежденно отвечал товарищ Мунехин. – Дурней себя ищите.

– Эх, Мунехин, – говорила Татьяна, – забыл, видать, как мы вместе к Кургузу ходили в батраки наниматься.

– К Кургузу – вместе, а от Кургуза – врозь, – замечал непреклонный товарищ Мунехин.

– Командуешь теперь, – говорила Татьяна. – Да ты еще в соплях путался, когда моего отца колчаки сожгли.

– Шагай, шагай, перерожденка! – подгонял ее товарищ Мунехин. – Нечего отцом прикрываться!

Как товарищи Мунехин и Ерохин обыскивали Татьяну Гришкину, чем стращали – этого никто не видел и не знает. Зато многие видели в тот день другое. Вдруг распахнулись двери сельсовета и наружу выскочили красные, как кумач, Мунехин и Ерохин. Следом за ними, в одной нижней рубахе, с распущенными волосами, вымахнула Татьяна.

– Стой! – весело кричала она, – Мужики! Куда ж вы! Еще не всю обыскали! Дайте я рубаху сыму!

– Сдурела! – обеими руками замахал товарищ Ерохин. – Уйди в помещение! Не срамись!

Мунехин ничего не говорил. Только все ширял наганом мимо кобуры и дергал худую щекой.

Денег они так и не нашли...

Вечером приехал с заимки Прохор. Соседи его перевстрели и рассказали про весь сыр-бор.

– Коня матери не отдавай, – советовали многие. – Отдашь – дурак будешь. Заворачивай прямо к деду Мосею – и шабашь. Зря вы, что ли, с Татьяной на их, чертей, столько горбили.

Прохор, однако, сделал по-другому. Он бросил невыпряженного коня у ворот, даже во двор не завел, минуя деда Мосея, прошел к тётке Манефе Огольцовой, купил у неё большую бутылку самогонки и тут же возле избы выпил из горлышка.

Вокруг стояли любопытствующие – ждали, что будет дальше.

Прохор посидел на бревнышках, подождал, когда самогон ударит в голову, потом поднялся и, напрягши шею, страшным голосом крикнул:

– Запалю!

Помолчал чуток, мотнул по-лошадиному головой и закричал еще страшнее:

– Серёгу убью!! А вековух перевешаю!

Сбычившийся, затяжелевший от самогона, Прохор шел вдоль деревни, и улица была ему узкой. Со всех сторон, сигая через плетни и канавы, бежали люди – смотреть, как Прохор Гришкин будет палить родную мать. Старухи прижимали к губам платки, суеверными взглядами провожали его пьяную спину. Впереди Прохора, поддериывая портки, шпарили мальчишки. Лаяли собаки. Красная в предзакатных лучах пыль вставала за спиной Прохора, как зарево пожара.

– Запалю! – шумел Прохор, и казалось, что этот крик кидает его от прясла к пряслу.

Бабку Пелагею добровольные курьеры упредили. Она выбежала за ворота, упала на колени и заголосила:

– Убивают!.. Люди добрые!

В избе ревели дурниной обнявшиеся Нюрка и Глашка.

Отчаюга и драчун Сергей, почему-то боявшийся обычно смиренного старшего брата, выскочил из дому, пропетлял, как заяц, по коноплям, кинулся с берега в речку и уплыл на другую сторону.

Всю эту жуткую панику прекратил подоспевший товарищ Мунехин. Товарищ Мунехин прибежал распоясанный, без нагана, и когда заступил он – низкорослый и щуплый – дорогу крепкому Прохору, всем показалось сперва, что это малый чей-то балует. Но столько было отчаянности в распаленных добела глазах товарища Мунехина, что очумевший Прохор затоптался на месте.

– Стой, контра! – крикнул товарищ Мунехин и, видя, что Прохор и без того уже стоит, сам опустился вдруг на пыльную траву. Дернул себя за ворот рубахи и, мотая головой в редких кудрях, с невыразимой болью сказал: – Нет, Гришкин, не твое это теперь добро, а народное! И ты у меня, Гришкин, былинку тут не подожжёшь – учти! Я тебе, гаду, пока живой буду, даже штаны собственные спалить не дам! Сначала сымай их, а потом поджигайся к такой матери!

Туда, где тепло и сытно

В два с небольшим года Яков Гришкин заговорил. Он говорил, правда, и раньше, но только отдельные слова: «мама», «папа» и «бу-бу», что переводилось, глядя по тону и выражению, – как «бабушка» или «мизгирь». А тут он заговорил сразу и бойко, словно было ему не два с гаком, а лет, допустим, пять-шесть.

Случилось это в поезде, который медленно тащился по белесой солончаковой степи. Солнце – весь день тоже белое и маленькое, как булабочная головка, – разбухло к вечеру, покраснело и быстро покатилося за край земли. От редких кустиков травы упали длинные тени, и на загустевшем небе проклюнулись звезды.

Яков, стоявший у окна, вдруг отчетливо сказал:

– А вон верблюд идет.

Прохор, дремавший в углу на скамейке, встрепенулся и ошарашенно переспросил:

– Чего-о?

– А вон верблюд идет, – повторил Яков. – У него две горбы.

– Горба, – машинально поправил Прохор. Он поискал глазами, на чем бы еще испытать прорезавшиеся способности Якова, – и увидел возле другой стены вагона соседа, усатого плотника, с которым сдружился за длинную дорогу.

– А это кто – знаешь?

– Знаю, – ответил Яков. – Дядя Граня-плотник – мировой работник!

– Так, – сказал отец и в растерянности поскреб затылок. – Верно... Ну иди стрельни у него табачку на закрутку.

Яков пошел и стрельнул.

– Сам курить будешь? – устрашающим голосом спросил дядя Граня.

– Нет, я маленький, – сказал Яков.

– За это хвалю! – крикнул дядя Граня, по-строевому выкатывая глаза.

Табак Яков, однако, не донес. В проходе он споткнулся о чей-то узел и просыпал всю щепоть на пол.

– Эх, пень косорукий! – сказал Прохор, разом зачеркивая все заслуги Якова. – А ну, марш спать. Не толкись под ногами.

Ах, лучше бы Яков молчал еще два года! Пока сидел он с мокрым носом возле мамки, его вроде не замечали. А тут сразу все заметили. Особенно поглянулся Яков одному товарищу, в галифе и толстовке, ехавшему на верхней полке.

– Ну-ка, орел, лезь ко мне, – позвал он. – Ух ты, какой кавалерист! Ты чего еще умеешь?

– Песни играть, – признался Яков.

– Тогда заводи, – сказал товарищ. – А я тебе конфетку дам.

Яков, старательно разевая редкозубый рот, заиграл песни. Он пропел от начала до конца «Возьму в ручки по две штучки – расстрелю я белу грудь», «Скакал казак через долину», «Посеяла огирочки» и «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла».

Товарищ пришел в умиление.

– Ах ты, косопырь! – говорил он, тиская Яшку за плечи. – Ах ты, жулик! – Он взял лежавший в головах портфель, раскрыл его, вынул бумажный кулек, порылся в нем толстыми пальцами и протянул Якову три липучих конфетки.

Яков слопал конфеты и подбодренный заявил:

– Я еще и припевки знаю.

– Да ну! – изумился товарищ.

– Ага, – сказал Яков. – Я много знаю. – И, не дожидаясь приглашения, запел частушки.

Мама Татьяна побелела как снег. У папы Прохора ослаб низ живота и противно задрожали ноги.

Яков жарил частушки деревенского дурачка Алешки Козюлина.

Алешка Козюлин, по прозвищу Сено-Солома, был мужчиной лет сорока, слабоумным от рождения. Худой и длинный, как жердь, с неправдоподобно маленькой головой на плечах, он ходил по деревне, привязав к одной ноге пучок сена, к другой – соломы, и сам себе командовал: «Сено! Солома!» Еще Алешка славился тем, что помнил множество частушек. Черт его душу знает, где он им обучался, но такие это были вредные частушки, что когда Сено-Солома приплясывал, напевая их под окнами сельсовета, то даже не робкого десятка мужики надвигали шапки на глаза и скорее сворачивали куда-нибудь в проулок.

Товарищ в галифе ужасно расстроился. Он слез с полки и начал обуваться, сердито и решительно наматывая портянки. На Татьяну с Прохором товарищ не глядел – в упор их не видел.

Татьяна, тряся у груди трехмесячную Маруську, высвободила одну руку, поймала Якова за голую пятку и скомандовала:

– А ну, слазь, черт вислоухий. Ты где, паскудник, такое слышал? Мать тебя обучила? Говори – мать? – Тут мама Татьяна даже заплакала. – Да мать всю жизнь на чужого дядю батрачила! Одного дня сытой не была! У-у, идолово племя!

Товарищ натянул второй сапог и, по-прежнему не глядя на Татьяну, сказал:

– Ты, гражданка, своим бедняцким происхождением не козырай! Не перед кем тут... И мальцу ногу зря не выкручивай. Ему этими ногами, может, до полного коммунизма шагать. Тем надо было ноги крутить, кто вокруг твоего ребенка на волчьих лапах ходил и вражьи слова нашептывал.

Сказав так, товарищ в галифе ушел в тамбур – курить махорку и нервничать.

Возможно, этот случай не имел бы последствий, но запаниковал Прохор, унаследовавший от деда Дементия страх перед всяческим начальством.

– Посадят, – упавшим голосом сказал он, когда за товарищем бухнула дверь. – Ить это он за конвоем пошел. Истинный бог. Пропали, мать!

– И так пропали – и так пропали, – ответила Татьяна. – Один конец. Которые сутки едем, а куда – неизвестно.

– Надо слезать... Слезать надо, – бормотал Прохор, слепо хватаясь за узлы. – Собирай ребят, мать.

Татьяна, зная, что в такие моменты спорить с мужем бесполезно, заплакала второй раз за этот день и принялась собирать ребяташек.

...Они вылезли тайком, много не доехав до своей станции.

Местность называлась – город Коканд... И так далеко от него лежала родная Землянка, что от одной думки об этом у Татьяны становилось холодно под сердцем.

...С год назад, однако, Прохор зачудил. Избушка деда Мосея так ему не поглянулась, что он, заходя в нее, даже шапку не снимал с головы. Да он туда редко и заходил. Больше сидел во дворе или шлялся по дружкам. Ни скотины, хотя бы и отцовской, ни земли у Прохора в один день не стало, и он с непривычки тяжело затосковал. В это время пристрастился он играть в карты. Правда, заядлым картежником не успел стать. Как-то за одну ночь Прохор проиграл в очко все деньги, вырученные женой за корову, и навсегда отшиб охотку.

Сильнее всего Прохора поразило не то, что он большие деньги спустил, а то, что он, получалось, целой коровы за ночь лишился.

– Как же так, мать? – изумлялся утром Прохор. – Ить по копейке же ставил!.. Вот это сыграл!

Татьяна поубивалась несколько дней, а потом решила: бог с ней, с коровой, – мужик зато уцелел.

Зимой Прохор наладился ловить зайцев. Охотился он на них способом хитроумным, но тяжелым и маловыгодным. Зима была теплой, земля глубоко не промерзла – Прохор рыл ямы, закрывал их сверху прутиками – вершинки навстречу, – а над ямой привешивал к ветке приманку. Зайцы сбегались, прыгали за приманкой и булькали в яму. Прутики их пропускали и обратно схлестывались над головой.

Утром приходил Прохор с мешком, спускался в яму, вязал зайцев, как пьяных мужиков, и выбрасывал по одному наверх. В первый раз он связал их так: передние ноги с передними, задние с задними – и когда сам вылез из ямы, увидел, как последний заяц редкими прыжками, падая и опять вскакивая, улепетывает в лес.

«Надоть переднюю к задней вязать, – сообразил Прохор. – Так его не удержишь». Смекнул он это сразу же, но и на другой день, и на третий продолжал вязать зайцев по-прежнему, а сам, покуривая возле ямки, глядел, как разбегаются они по кустам, петляя и тыкаясь мордами в снег.

Ближе к лету Прохор засобирился уезжать из Землянки.

От младшего брата Сереги, раньше уехавшего куда-то в Среднюю Азию, пришло неожиданное письмо. «Чего ты ждешь там? – писал брату Серега. – Чего высиживаешь? Бросай все и приезжай. Мы здесь по яблокам ходим...»

– Куда еще поедет нищетой трясти? – засомневалась Татьяна. – Здесь надо обживаться. Давай в колхоз запишемся.

– Чего я там не видел, в колхозе? – отвечал Прохор. – В драных-то штанах я и один прохожу.

– Теперь все же полегче, – уговаривала жена. – Мунехина, вон, сняли – слышал? Головокружение будто нашли.

– Мне мать его так – чего у него нашли! – закипел Прохор. – У этого головокружения, а у другого, может, что похуже. А мы – нюхай.

– Смотри, Прохор, – качала головой Татьяна. – Наплачемся. Локти кусать будем.

Тогда упершийся на своем Прохор сказал:

– Кто бабу слушает, тот не человек.

Приходил уговаривать Прохора даже снятый товарищ Мунехин.

– Ты, Гришкин, – говорил он, – вполне теперь доспел для новой жизни, и тебе здесь ее надо строить, на месте. Повремени чуток, ты скоро по-другому кругом глянешь – сознательными глазами.

– А я и так гляжу, – отвечал Прохор. – Я к тебе вон давно приглядываюсь: ты когда еще доспел, а тебя чегой-то по шапке мешалкой.

– На! – кричал товарищ Мунехин, протягивая Прохору худые веснушчатые руки. – На, отсеки мне их! Отсекешь – а я зубами буду за советскую власть грызться!

– Да грызися ты, – пятился от горячего товарища Мунехина Прохор. – Меня-то чего дёржишь? Ты же один привык – тебе напарников сроду не надо было... Вот и грызися.

...На базаре в Коканде Прохора Гришкина обворовали.

Сначала все шло будто неплохо. Товарища в галифе увез поезд, и Прохор повеселел.

– Ничего, мать, не пропадем! – говорил он. – Вот пиджак продам сегодня. Гляди, какая тут теплынь – нагишом ходить можно. Продадим пиджак, билеты купим – и дальше. Нам ведь только до места добраться, до Сереги.

Пиджак у Прохора сторговал молодой нерусский парень. Они долго рядились: нахальный парень этот чуть не задаром норовил купить пиджак. Прохор не уступал и сердился.

– Ты подумай, что даешь, черт печеный. Креста на тебе нет.

– Крест надо? Будет крест! – Парень исчезал в галдящей толпе и тут же выныривал обратно, держа в горсти десяток медных нательных крестиков. – Сколько возьмешь?

– Да на кой они мне, – отпихивался Прохор. – Мне деньги нужны – дальше ехать.

В конце концов парень поимел совесть – накинул маленько, и пиджак перешел к нему. Денег оказалось чуть больше, чем на два билета. Прохор купил круглую булку белого хлеба и, посомневавшись, – огромный полосатый арбуз. Арбуз не обхватывался свободной рукой – Прохор снял рубаху и кое-как запеленал его.

При выходе с базара Прохора сильно толкнули в спину.

Роняя покупки, он упал лицом в пыль, а когда, поднявшись, проморгался – ни хлеба, ни арбуза рядом не нашел. Пропали из кармана и билетные деньги.

Тогда Татьяна продала последнее, что было, – обручальное кольцо, доставшееся ей от бабки. Вырученных денег хватило только на один билет. По этому билету усадили в вагон Татьяну с детьми, а Прохора взял к себе машинист. Можно сказать, что Гришкиным повезло. В Коканде санитары сняли с паровоза опившегося холодной водой кочегара: вот на его место и напросился Прохор – пошуровать за так несколько прогонов.

...С братом Серёгой они столкнулись прямо на станции, хотя уговору о встрече не было. Первой увидела его Татьяна. Серёга стоял почерневший, как головешка, худой и дряблый. И одет был хуже всякого босяка: тюбетейка на голове, дырявая майка без рукавов, выгоревшие куцые штаны и кореженные сандалии на босу ногу. В руках он держал грязный узелок.

– Здравствуй, Сергуня, – сказала Татьяна. – Где же яблочки твои? Дай и нам по ним пройтись.

Серёга молча отворотил лицо.

От паровоза спешил Прохор. По голому животу его катился черный пот.

– Зря ты приехал, брат, – сказал Серёга, не подавая руки. – Мы тут с голоду пухнем... Вот хочу в табак-совхоз податься. – Он потрянул узелком.

Прохор встал, как громом ударенный.

– Ты зачем же звал, пёс?!

Тут Серёга оскалился, став на момент прежним Серёгой, нахальным и дурковатым, и сказал страшные слова:

– А так вас, дураков, и учат.

– Ну, спасибо, брательничек! – поклонилась Татьяна. – За детей моих спасибо тебе!

– Мать! – Прохор заскреб ногтями локоть, подсучивая несуществующие рукава. – Убить его, выродка, мать?!

– Не трожь, Проша, – сказала Татьяна. – Не связывайся. Ума из него все равно не выколотишь... Что ж теперь делать. Раз приехали – надо жить...

* * *

Лежала вокруг горячая, как сковородка, чужая земля.

В тени, под навесом, дремали на корточках три старых узбека.

У коновязи кричал, заглушая паровоз, тощий ишак.

Они казались себе стариками, прожившими длинную жизнь, из которой на этот новый берег не привезли даже малого обломка.

А им было сорок пять лет на двоих.

И это была только первая их дорога...

Вчера, сегодня, завтра (вместо эпилога)

С некоторых пор я разлюбил приезжать к своим родственникам. Меня угнетает обстановка вечной какой-то недоустроенности жизни. На посторонний взгляд, и сам я, наверное, живу, как говорится, по-птичьи. Но к собственным трудностям и нехваткам я научился относиться легко – «отфильтровывать» их, не замечать. А вот когда мы собираемся вместе, встречи эти выливаются в длинные разговоры, в попытки разобраться в чьей-нибудь судьбе, поправить ее и спланировать. Причем от меня, как от старшего, ждут самого авторитетного мнения. Мнение такое у меня находится, я всегда высказываю его и всегда знаю, что прозвучит оно впустую. Важны не слова, а пример, однако я, к сожалению, не умею в жизни поступать так же трезво и расчетливо, как советую другим. Вообще, у нас дома не умеют планировать – видеть, это наша фамильная черта. У нас «загадывают» – есть такое словечко. И загадки наши редко сходятся с действительностью.

Вот и теперь я еду к младшему брату Косте, и миссия мне предстоит сомнительная. Я должен поговорить с Костей, наставить его на путь истинный. Можно бы, наверное, и в письме, да мать убеждена, что на словах лучше. Соберутся, мол, сыновья, усядутся за стол, насупят деловито лбы, задымят табачком... Всю жизнь мечтала она почувствовать рядом такую вот мужскую обстоятельность.

Константин у нас отмочил номер. Еще четыре года назад жил он в областном городе, работал электромонтером, заканчивал вечернюю школу. Гулял себе по асфальту в модном плаще и короткополой шляпе, квартира у него была однокомнатная – тесноватая, конечно, на троих (с женой и дочкой), но другие ребята из его цеха и такого не имели. И прямая дорога ему вырисовывалась – в институт, в инженеры.

А он, оказывается, под пижонской шляпой своей вынашивал совсем другую мечту – сделаться сельским учителем. Несерьезно все это было, тем более, что видел себя Костя не у классной доски со строгой указкой в руках, а где-нибудь на берегу тихой речки, с удочкой.

И увидел. Он только поступил в пединститут на заочный, а уж товарищи из облоно ухватились за него двумя руками. Им такие энтузиасты по ночам во сне снятся. Буквально в двадцать четыре часа – и контейнер ему организовали, и грузчиков – выехал наш Костя в глухой кержацкий поселок, на 540-й километр, и принял там школу-четырёхлетку. Вторым учителем оформили его жену.

С тех пор гниют на чердаке Костины удочки, ржавеет двустволка, потому что пришлось ему, вчерашнему работяге, стать в этом забытом начальством уголке и учителем, и агитатором, и главным борцом с религиозными предрассудками; и школу новую он строил, выколачивая из поселкома каждый гвоздь, каждую плаху...

...Встречает меня мать. Племянницы, Костины девчонки, жмутся в угол – не узнают дядьку.

– Константин-то, – говорит мать, промокая передником сухие глаза, – все ждал тебя, все выглядывал, да вот...

– А что такое?

– Да в больницу его положили, воспаление легких нашли. Раньше бы надо, да он крепился все: дождусь, говорит. Я уж ругалась на него...

– Черт! – говорю я. – Надо же! Ведь это у него второе нынче?

– Второе, сынок, второе, – кивает мать.

– Как же, его угораздило?

– Да пошел с учениками на эту... на экскурсию. А на речке-то лед рыхлый. У вас там, поди, лето уже... Вот он оступился, ноги-то промочил.

– Ну, и вернулся бы сразу. Гори она, экскурсия эта.
– И я говорю: вернуться бы. А он, знаешь как, – разогреюсь, мол, на ходу. Вот и разогрелся...

– Господи! – начинаю злиться я. – Что за чумное семейство!

– Чумное, сынка, чумное, – соглашается мать. – Я уж тут с кругу сбилась.

Значит, Костя в больнице, в Тыштаге, и попаду я к нему только с утренним поездом. Жена его уехала в город, по делам. Ужинаем мы поэтому вдвоем с матерью.

– Ты потолкуй завтра с Костей, – говорит мать. – Может, он тебя послушает.

– Да, да, – спохватываюсь я. – Что у него тут... вырисовывается? Ты – поподробнее.

– Да что вырисовывается... В школу-то нынче не набирается ребятишек на полных четыре класса. Один учитель, значит, лишний. Ох, Коля, ведь до него их отсюда четверо сбежало. А тут и сбежать не надо, и без скандала все. Я сразу ему советовала: езжай в район, скажи: раз жене работы не будет, один я на семьдесят пять рублей не останусь. Берите, мол, другого человека, а нас увольняйте. И то ведь сказать, сколько он здесь поворочал – слава господи!.. Так что ты думаешь? Приехал из Тыштага секретарь райкома, прямо на машине подкатил, увез его с собой, два часа из кабинета не выпускал и уговорил: в председатели поселкового Совета на два года... А какой из него председатель, ты подумай. С его-то здоровьем. Туда ведь железного человека надо... Здесь-то, конечно, многие рады. Семен Букреев с Гариком Ваниным уже и поздравлять прибегали. С поллитрой. Берись, мол, Константин, не отказывайся – мы тут с тобой кержаков этих, спекулянтов, расчешем. А я боюсь, сынок. Захлестнется он на этой работе. И так уж одни мослы остались, насквозь светится...

В общем-то я знаю уже из письма матери про эти неожиданные перемены. И тревога ее мне понятна. Что и говорить – самое бы время сейчас Константину вернуться в город. Как ни заедали его директорские заботы, а все же два курса филфака он за эти годы осилил – теперь его и в городе учителем возьмут. Ну, а не возьмут, так можно до окончания института и на прежнюю работу вернуться – специальность у него в руках есть. Я еще и другое знаю, о чем, может быть, ни сам Костя, ни мать пока не задумывались. Не на два года еще он здесь задержится. Надолго прикипит, если не навсегда. Здесь в районе тоже не глупые мужики сидят: они людьми разбрасываться не любят.

Все это я должен, как старший брат, объяснить Косте – за тем и ехал. И все это я скажу ему завтра.

...Мы присядем в больничном коридоре на какой-то деревянный ящик; Костя будет слушать меня, кивать, поддакивать, с готовностью соглашаться. Эта готовность – словно речь не о нем, а о постороннем каком-то чудаче – даже рассердит меня, я обижусь и замолчу.

А потом Костя сбежит на часок из больницы, натянув поверх халата мою болонью. Мы с ним заберемся на сопку, с вершины которой откроется весь, как на ладони, уютный шахтерский городок Тыштаг; и там раскрасневшийся покашливающий Костя примется строить «загадки» своей здешней все же, а не городской жизни...

– Дома-то давно была? – спрашиваю я у матери.

С домом у нее дело сложное. Прописана она в городе. Там просторная квартира, еще отец получал – уважали его за многолетнюю преданность конному двору. А живет мать больше у Кости. Глядела, глядела, как он здесь колотится, и не выдержала. Приехала – настояла хозяйство завести: огород, корову, куриц.

– Я ведь, сынок, только-только вздохнула после нашей халупы, – рассказывает она. – Ни печку тебе не топить, ни воду не таскать. Сиди, как барыня, посиживай. А теперь, на старости лет, опять к этому назьму. Так, видно, возле него ноги и протянешь. Костя-то вон смеется: ты, мол, кулацкое хозяйство развела. А кто ж тебя, говорю, вражьего сына, тянул сюда? И как ты иначе в деревне прожить хочешь? Вон они, зелепутки твои: им ведь и молочко надо, и яичко. А разве ж это кержачье продаст? Они задавятся скорее.

Эта тема у нее нескончаемая, и я стараюсь перевести на другое.

– Мать, – говорю, – а дядя Паша не приезжал к вам?

– Грозиться грозился, – отвечает она, – а пока не был. В городе-то, когда я там, заходит.

Это я знаю, в городе дядя Паша действительно часто заходит к матери. Гостит он теперь как-то странно. Раньше, бывало, приходил по праздникам, нес завернутую в газету бутылочку. Теперь дядя Паша может зайти в любой день. Выпьет где-нибудь у стойки, по нынешней моде, «рассыпухи» и пойдет. Разуется, ляжет на диван, подогнув ноги в шерстяных носках, и дремлет. Подремлет так часок-другой, а потом скажет:

– Ну, Анна, пошел я. Спасибо тебе.

Если же случится быть у матери и мне, дядя Паша, проснувшись, затевает один и тот же разговор:

– Вот помру, Миколай, оставлю тебе дом свой. А что ты думаешь, а? Дом у меня знаешь какой! Я туда водопровод подвел – сто двадцать рублей отдал. Будешь сидеть в нем, книжки свои пописывать.

– Спасибо, дядя Паша, – благодарю я. – Только зачем он мне – за пятьсот верст. Ты уж оставь кому поближе.

Дядя Паша, насколько мне известно, так и делает. Не мне одному он этот дом предлагает. Только охотников что-то не находится.

Мать, словно подслушав мои мысли, говорит:

– Вот еще черт-дурак, с домом этим связался. Ведь все жилы дом из него вытянул. А для кого строил, спроси его: ни детей, ни внуков нет. Да теперь и дети не шибко об домах думают. Ведь ему, лешаку старому, квартиру давали казенную – отказался. Гроб себе построил, прости меня, Господи...

– А вот твой папка домов не наживал, – вздохнув, продолжает она. – Как не успел в деревне сам похозяйствовать, так уж и потом не научился. Нет, худого я не скажу – на производстве он до упаду работал. А свою засыпуху всю жизнь колом подпирал.

Она начинает рассказывать про отца, про чудачества его, с которыми едва не всю жизнь сражалась, а теперь вот, как ни странно, вспоминает чаще, чем что другое.

– Бывало, соберут у них на конном дворе собрание – на заем подписываться. Он сейчас руку тянет: «Подписываюсь на полный месячный оклад и прошу всех следовать моему примеру». А вечером придет и хвастается мне: «Я, мать, на полный оклад подписался. Так прямо и сказал: пиши, говорю, на полный оклад...» Да еще раза четыре повторит, пока из терпенья меня не выведет. Что же ты, говорю, богач такой, сразу на весь год не подписался? Я бы уж тогда суму на шею повесила да пошла с детьми побираться... Он, Коля, и на фронте так-то делал. В сорок четвертом, не соврать, году, весной их возле одной деревни в Белоруссии оставили. Укреплена она была очень сильно, отец говорил. И вот ночью как-то немцы сарай на краю этой деревни зажгли, чтоб виднее было стрелять. А в сарае, оказывается, картошка была насыпанная. И начала она там печься. Отец-то утречком унюхал, что пахнет печеной картошкой, наносит будто с той стороны – и давай к этому сараю подкрадываться. А они, видишь, двое суток уже голодом сидели – кухню у них снарядом разбило. Вот он этой картошки нагреб два котелка, принес в блиндаж – ешьте, ребята! А что там два котелка на взвод мужиков. Съели, говорят: беги еще – ты дорогу знаешь. Так он – веришь-нет – до пяти раз к этому сараю мотался. Кругом стреляют, а он – где ползком, где перебежками... Пока ему заднюю пряжку на ватных брюках пулей не отсекло. Брюки-то с него и упали. Подхватил он их одной рукой (в другой котелки) и давай петлять, как заяц. А немцы по нему из танков бьют...

Про танки мать, однако, прибавила от себя. Историю эту я помню. Помню и то, что друзьям своим никогда ее не рассказывал – стеснялся за отца. Мы читали в книжках про настоящие подвиги, там люди бросались под танки, закрывали телом своим амбразуры дотов. А здесь что? Печеная картошка, какие-то раненные штаны. Меня, пожалуй, засмеяли бы на улице.

Вообще, когда в детстве про меня кто-нибудь говорил: «Вылитый батя», – гордость меня вовсе не охватывала. Отца своего я любил, но походить на него не стремился. Был он рассеянным, вечно хмурым человеком, оживляющимся лишь тогда, когда принимался рассказывать свои байки, не самым высоким и не самым сильным мужчиной на нашей улице, не самым, наверное, умным и авторитетным. По крайней мере, когда дома у нас собиралась компания, не отцовские рассуждения слушали все, не отцу уважительно поддакивали.

А теперь вот мне приятно сознавать, что я похож на своего отца. С годами сходство усиливается: я замечаю у себя отцовские морщины, отцовские жесты и словечки, я сутулюсь, как отец, и даже волосы – от постоянной, что ли, привычки смахивать их со лба направо – ложатся у меня по-отцовски. И мне нравится почему-то наблюдать эти превращения.

И даже моя непрактичность в житейских делах, так раздражавшая меня раньше, находит теперь оправдание. Я стал вроде бы лелеять ее. «Гены, – усмехаюсь я, – гены. Это от бати – тут уж никуда не денешься».

Отчего это? Может, потому, что у меня тоже подрастает сын, и я, желая видеть его лучше, умнее, удачливее отца, тайно надеюсь все же, что в чем-то он повторит меня. Я хочу, чтобы малая частица меня переселилась в будущее, точно так же, как жил я когда-то в других людях – давно, в том «отрицательном» еще времени, «за нулевой отметкой», как любит выражаться один мой ученый друг.

Где-то в городе, на окраине

Речка, которую я никогда не видел

Я долго бился над первой фразой своего повествования, но, так ничего и не придумав, решил начать традиционно: «Деревня наша Утянка стояла на крутом берегу речки Бурлы». Хорошая половина книги о детстве открывается описанием деревенок, приютившихся на берегах речек, и, если начать по-иному, читатель, пожалуй, еще заподозрит что-нибудь неладное и почувствует к автору недоверие.

Сядем же в таратайку исповедальной прозы, взмахнем прутиком, причмокнем на лошадку памяти и отправимся в путь. Глядишь, и нам повезет. Глядишь, и на задке нашей таратайки, как знак, запрещающий обгон, затрепещет со временем рецензия: «Несмотря на то, что в последние годы литература обогатилась рядом ярких произведений о детстве, писателю имярек удалось все же внести в эту тему свою неповторимую струю...»

Итак, деревня наша Утянка стояла на крутом берегу речки Бурлы.

Берег, впрочем, по свидетельству очевидцев, не на всем протяжении был крут, местами оказывался и пологим, но это, думаю, деталь второстепенная.

Дело в том, что сам я ни речки Бурлы, ни родной деревни Утянки никогда не видел. Родители мои, захваченные вихрем индустриализации, в один прекрасный день завернули меня, четырехмесячного малютку, в овчинный полушубок и увезли на строительство знаменитого Кузнецкого металлургического комбината.

Вихрь индустриализации, налетевший на Утянку в лице вербовщика с желтым портфелем, легко оторвал от земли моего, ставшего к тому времени безлошадным, папашу, двух родных дядек и нескольких двоюродных. Произведя подобные же опустошения в домах наших кумовьев, сватов и соседей, вербовщик насобирал людей, в общей сложности, на два телячьих вагона, и утянские мужики отправились обживать берега диковинной Абушки.

Времени на это дело мужикам было отпущено крайне мало. Когда-то дед мой вот так же приехал из России обживать берега Бурлы, но, во-первых, у него в запасе имелись годы, а во-вторых, пахать сибирскую целину дед заявился готовым хлебобобом, хотя и безлошадным. Сыновьям же его и односельчанам надо было не только лепить свои засыпухи и унавоживать свои огороды, но, первым делом, строить комбинат, срочно перековываться в рабочих, вылезать из корявой крестьянской шкуры. А она отрывалась вместе с мясом, путалась в ногах. Торопливый и мучительный процесс этот довелось мне, как теперь понимаю, наблюдать с тыльной стороны, с изнанки.

Поэтому, наверное, первые воспоминания мои оказались наполненными деталями быта окраинной заводской жизни.

Так вот, первой речкой, которую я увидел в жизни, была эта самая Абушка, вдоль крутого опять же берега которой лепилась улица Вторая Болотная. Вообще-то официально речка именовалась Аба. За что ее прозвали ласкательно Абушка – совершенно непонятно. Это можно объяснить только редким великодушием новоселов. По Абушке текла не вода, а сплошные смола и мазут, сбрасываемые металлургическим комбинатом. Она не застывала в любые морозы, была черной и блестящей, как только что начищенный хромовый сапог. Однажды в ее струи, оступившись с мостка, упал наш кум и сосед Егор Дорофеев. Упал он удачно – головой на жирный, как холодец, приплесок и, будучи крепко выпивши, тут же заснул. Егор проспал в теплой Абушке до утра и так пропитался мазутом, что его года два ещё, наверное, во всех компаниях сажали за стол только у открытого окна.

Если кто-то думает, что я преувеличиваю, пусть съездит в бывший город Сталинск, а ныне Новокузнецк. Конечно, улицы Второй Болотной он не найдет – на ее месте выросли многоэтажные белокаменные дома, давно нет и тех мостков, с которых когда-то рухнул кум Дорофеев, но Абушка и сейчас несет свои мазутные воды в Томь, рассекая славный город на две половины.

Однако я отвлекся, а речь идет о Бурле.

Никогда, повторяю, я не видел этой речки, но она, вот уже много лет, течет в моей судьбе, и не рассказать про нее я не могу.

Что я знаю о Бурле?

Была она кое-где воробью по колено, но зато растекалась в этих местах широко, давая в жаркий день приют ребятишкам и коровам, замученным паутами. На таких плесах хорошо брал чебак, крупный и бесстрашный, которого не отпугивало даже барахтающееся в воде пацанье. За плесами река сужалась, образуя глубокие омуты с крутящимися воронками и нависшими над водой кустами. Здесь, в тени кустов, паслись неисчислимые стада окуней – здоровенных, прожорливых и бесхитростных, прятались в камышах полтораметровые щуки, таились под корягами налимы. И, хотя все это население нещадно поедало друг дружку: окуни – чебаков, щуки – чебаков и окуней, – рыба в реке не переводилась.

Ах, как вкусно описывал мне отец свои рыбалки на Бурле!

Старший брат поднимал его чуть свет; торопясь, они накапывали между наземных грядок тугих ременных червей и почти рысью бежали к заветному омуту. Брат не признавал рыбалки вблизи деревни, добираться поэтому приходилось к дальней излуине, по пояс в седой от росы траве. На место приходили мокрыми насквозь, облепленными комарами и, не отжав портков, спешно разматывали удочки. У брата, жадного до рыбалки, тряслись от нетерпения руки.

Окунь брал сразу и наверняка. Обглаживать наживку, еле заметно теревить ее, вяло мусолить – этого за бурлинской рыбой не водилось.

Старший брат отца, предпочитавший рыбачить на две удочки, очень скоро запутывал их и, тихо матерясь сквозь зубы, чуть не плача от досады, принимался расцеплять. Справившись наконец с этой задачей, он с непонятным упрямством опять забрасывал обе. Клевать начинало враз на той и другой, брат снова захлестывал лески, после чего ему хватало распутывать их уже до конца рыбалки.

Отец же таскал одного полосатого горбача за другим, и обычно к тому времени, когда туман над рекой начинал розоветь, ведро бывало уже полным до краев.

Словом, это была честная сибирская речка, битком набитая рыбой.

Все соединяла в себе маленькая Бурла: песчаные отмели и красивые заводи, звонкие перекатики, островки величиной в ладошку, таинственные бездонные ямы, в которых жили заросшие мхом щуки.

Отца моего, как рыбака, щедрая Бурла избаловала и развратила на всю жизнь.

Помню, однажды я соблазнил его порыбачить на Теплом озере. Вода в этом озере натекла из ТЭЦ, и сначала отец долго не хотел верить, что в такой перекипяченной воде может водиться хоть какая-то рыба. Рыба, однако, в Теплом озере была – кто-то запустил туда сорожек, и они расплодились.

Отец сам смастерил себе удочку. Это была грубая, но прочная снасть: большой окуневый крючок, волосяная леска, способная выдержать пятикилограммовый груз, поплавок из пробки – величиной с детский кулак... Выбрав на берегу местечко, отец разматал удочку, нацепил на крючок целиком здорового салазана, поплевал на него и – господи, благослови! – бултыхнул свой снаряд в воду. Затем он свернул самокрутку и принялся ждать.

Прошло минут двадцать – гигантский отцов поплавок лежал на воде недвижно, как бакен.

У меня тоже не клевало.

Я помараковал немножко, перестроил удочку на верховую рыбу, сменил наживу и начал изредка потаскивать красноперых сорожек.

Отец вроде даже и не смотрел в мою сторону. Только закаменевшая скула его выражала презрение. Играть с рыбой в догоняшки, караулить мельчайшую поклевку, подсекать – было, видать, ниже его достоинства. Он ждал верную рыбу. Ту надежную рыбу своего детства, которая подойдет и, не раздумывая, цапнет мертвой хваткой. Но рыба не подходила.

Отец крепился.

Я продолжал таскать сорожек. Так прошло еще с полчаса.

Вдруг отец вскочил, ругаясь во всех святителей и угодников, выдернул удочку, изломал удилице о колено и зашвырнул далеко в озеро.

– Не было рыбалки – и это не рыбалка! – заявил он.

Отец до самой смерти все мечтал съездить как-нибудь в родные места. Побродить с ружьишкой по околкам, позоревать на Бурле.

Мечтал он, по своему обыкновению, азартно и шумно.

– А что, Миколай, а! – возбужденно говорил он. – Вот возьмем и подадимся!.. Я компенсацию брать не стану, ей-бо не стану – уйду в отпуск, и зальемся мы с тобой! – (Отец ни разу в жизни не ходил в отпуск, а брал компенсацию – отдыхать он не умел, да и денег нам вечно не хватало.) – Читал, что Григорий пишет?.. Рыбы в Бурле развелось – тьма! Сама, говорит, на берег скачет.

Я поддакивал отцу, хотя смутно чувствовал, что ехать туда нам нельзя. Наверное, в глубине души понимал это и отец. Он так и не съездил в Утянку.

Не поеду туда и я.

Не поеду, потому что боюсь разрушить легенду. Боюсь вместо чистойшей, уютной сказочной Бурлы найти пересыхающую замарашку, в которой местные механизаторы купают своих железных коней.

Но время от времени я вижу во сне какую-то речку. Вернее, уголок её, всегда один и тот же. Сон этот цветной и неподвижный. Прямо от ног моих полого сбегает к воде серебристый, словно бы прихваченный морозцем, песочек, редкий молочный туман стоит над темной водой, над двумя продолговатыми песчаными островками, проступающими на середине плеса; левее островков река сужается, берега становятся круче, и тихие, почему-то сиреневые ветлы нависают там над водой.

Картина эта так неправдоподобно красива, что сладкая боль всякий раз сжимает мне сердце.

– Ма, что-то мне все речка одна снится, – признался я однажды матери. – К чему бы это, как думаешь?

Мать – храбрая толковательница снов – на этот раз засмушалась.

– Дак что же, сынок, – с виноватой улыбкой сказала она. – Ведь ты на речке родился.

Я не сразу понял. «Ну да, разумеется, на речке, поскольку деревня наша Утянка стояла на крутом берегу...»

– Да нет сынок, на самой речке, – объяснила мать. – В лодке я тебя родила.

Так я узнал тайну своего рождения.

Оказывается, в тот день мать с одной из своих многочисленных золовок – а моей, значит, будущей тёткой – отправились на противоположный берег Бурлы за ягодой. Когда они, с полными корзинами, возвращались обратно, мне и приспичило родиться. И хотя до берега оставалось каких-нибудь три сажени, я не захотел ждать.

Пуповину мне перекусила тетка и завязала ниткой, выдернутой из домотканой рубахи. Надо сказать, что тетка дело знала. Получился идеальный крестьянский пупок, сработанный руками, привыкшими все вязать на совесть, будь то снопы, мешки или пупки.

Здесь же, в деревне Утянке, меня через несколько месяцев окрестили. Окрестили неискренне и формально, скорее для того, чтобы откупиться от Бога, интересы которого во всем семействе истово отстаивала одна бабка Акулина, отцова мать.

Церковь в то время уже не работала. В ней был клуб, где по вечерам бывший батюшка, здоровенный, рыжебородый, вечно нетрезвый мужчина, вел показательные диспуты о Боге с приезжими атеистами.

Батюшка лукавил, замаливал свой грех перед властями. Году в двадцатом он сбежал из деревни с колчаковцами, долго мотался по свету, потом вернулся и, как нашкодивший кот, играл теперь с атеистами в поддавки. Пospорив какое-то время, он позволял им принародно победить себя, хотя мог, конечно, уложить любого из этих горячих, но малограмотных ребят на обе лопатки.

Диспуты, однако, батюшку не кормили, и он, за натуральную плату, ходил по дворам и подпольно крестил деревенских младенцев. Впрочем, и этот промысел постепенно хирел: к бывшему попу из-за его двурушничества начали терять уважение даже крепко верующие.

Со мной у батюшки вышел непредвиденный конфуз. Когда он вынимал меня, залившегося в реве, из купели, я вдруг судорожно вцепился обеими руками ему в бороду.

Сначала такой оборот дела присутствующих не насторожил и даже вполне устроил, поскольку я тут же перестал плакать.

– Ну-ну, чадо, – добродушно усмехнулся поп. – Пусти батьку, пусти... Ишь ты, рукастый...

Подскочившая бабка Акулина хотела оттащить меня, но я тянулся только вместе с бородой.

– Пальцы... пальцы ему разлепи, – занервничал батюшка. – Куда ж ты тянешь! Ты мне так власы повырываешь.

Но и пальцы отлепить не удалось.

Я болтался на бороде у попа, как сосиска.

Склоненное лицо батюшки багровело и покрывалось потом.

Поднялась суета. Батюшка уже не усмехался.

– Отцепляй пашенка! – хрипел он и ругался черным словом.

Вмешался дед, всегда недолюбливавший «долгогривых», и дело закончилось большим скандалом.

В результате батюшка ушел, не получив причитающийся ему по таксе десяток яиц и кусок свиного сала.

А в моих отношениях с Богом образовалась трещинка, которой суждено было в дальнейшем расти и расширяться. И, честное слово, не по моей вине. Если уж на то пошло, я относился к Богу вполне дружелюбно. В то время, как вокруг говорили, что его нет, что он легенда, миф и опиум, я все же надеялся, что Бог существует, только спрятался где-то. Но однажды он появится – и тогда мы утрясем с ним наш маленький конфликт. Я даже выучил наизусть «Отче наш», чтобы по-хорошему приветствовать Бога. Эти надежды подогрел один из моих веселых дядек. Спасаясь от бесконечных «почему» племянника, он сказал, что Бог улетел в Америку. Однако, когда я выложил полученные сведения главной божьей заступнице бабке Акулине, рассчитывая утешить ее, бабка, погрозив мне черным кулаком, зловеще сказала: «Небось прилетит!»

Это казалось мне странным: по словам бабки, Бог только о том и мечтал, как бы надрать мне уши, расшибить меня громом или отправить в ад, где я должен буду лизать языком раскаленную сковородку. Сковородку мне лизать не приходилось, но добела раскаленный на морозе топор я лизнул однажды из любопытства – так что представление о подобном удовольствии имел.

Бог не прилетел.

Но все же через несколько лет нашел способ поквитаться со мной.

В первый послевоенный, шибко голодный год ходили мы с матерью покупать корову – вместо сломавшей ногу и прирезанной на мясо нашей Белянки. Шли мы в деревню Безруковку, к знакомой бабке Крылихе, и мать дорогой учила меня.

– Ты, сынка, как будешь за стол садиться да из-за стола вставать – перекрестись. Бабка Крылиха набожная, черт её знает, что ей в голову встрянет – возьмет, да и не продаст нам корову.

В избе у Крылихи густо, до головокружения, пахло мясными щами.

– Васкя! – сердито кричала она сыну, собирая на стол. – Ты, что ли, идол, мясо из котла повытаскал?!

– Ну я, – лениво сознавался толстомордый Васкя. – Дак я же хлебное оставил, что лаешься.

Хлебным мясом Васкя называл постные куски, расслаивающиеся на ниточки, которыми сам он пренебрегал.

За щами, помню, поданы были блины – белые и ноздреватые.

Пресытившийся Васкя макал их в сметану, высоко поднимал над столом и наблюдал, как сметана, стекая, пятнает белыми кружками клеенку.

– Гля, маманя! – радовался он. – Ровно заяц пробег!

Крылиха, занятая разговором с матерью, отмахивалась.

Мать косила на «заячьи тропы» глазом и деликатно молчала.

Меня бы она за такое развлечение зашибла на месте. Даже и думать нечего.

Я старательно крестился – и до еды, и после. Но Крылиха не продала нам корову. Причину мне на обратном пути открыла мать.

– Ты как крестился-то, а? – сказала она. – Ведь ты слева – направо крест клал, друг ситцевый. Уж я тебе и мигала, а ты все по-своему машешь.

Такая мелочность Бога, помню, неприятно поразила меня. Слева направо или справа налево – какая разница? Толстомордый Васкя не крестился вовсе, но его почему-то Бог помиловал.

Потом уж, спустя много лет, я узнал, что Бог всегда был мелочным. Мелочным, жестоким и капризным.

За что, собственно, истребил он однажды на земле род человеческий? А вместе с ним – всех скотов, гадов и птиц небесных? Ангелы путались с дочерьми человеческими, а Господь, вместо того чтобы прицкнуть на своих крылатых прохвостов, разгневался на род человеческий. Нашел его, видите ли, слишком развращенным. И потопил все живое. А спрашивается: род человеческий просил, чтобы его создавали?..

Ну, хорошо – потопил и ладно: отмучились бы раз и навсегда. Так ведь стоило Ною принести в жертву Богу несколько зверушек, короче говоря – «дать на лапу», как он, обоняя «приятное благоухание», тут же пообещал никогда больше не проклинать землю за человека и не поражать всего живущего. И... не дав народу как следует расплодиться, испепелил Содом и Гоморру.

Если разобраться, старичок был основоположником всего грядущего самодурства: сначала от скуки сотворил этот мир, а потом вертел им, как игрушкой. Это надо подумать! – еще не родила Ревекка своих близнецов, а уж он определил, что от них пойдут два разных рода и больший станет служить меньшему. Каково?! Сам клятвопреступник, он благоволил клятвопреступникам, лизоблюдам и наушникам: провокатору Аврааму, который повсюду выдавал жену свою Сару за сестру, а потом, с божьей помощью, забирал ее назад у перепуганных владык – в придачу со скотом и золотом; маменькину сынку, чистоплюю Иакову, купившему себе первородство у работяги Исава за чечевичную похлебку и обманом получившему благословение отца; юродивому сыну Иакова – Иосифу, кляузничавшему папаше на братьев своих.

Я думаю: как хорошо, что хотя бы с этим Богом мне удалось расстаться без сожаления.

Сложнее оказалось избавиться от веры в других богов – земных. Про них, наоборот, все твердили, что они есть, они всемогущи, непогрешимы и, главное, добры. Что все хорошее происходит благодаря им, а плохое, если и попадется кое-где, то лишь потому, что они пока об этом не слышали.

Многие годы ушли на то, чтобы понять, что если и существует на свете бог, то, наверное, это та речка, то поле, та деревенская изба – словом, тот клочок земли, где нам когда-то перекусили пуповину и завязали суровой ниткой.

Никакой другой бог не прилетит. А если и прилетит когда-нибудь, то лишь затем, чтобы надрать нам уши. Так что лучше уж разобраться в своих делах без его помощи.

Моя первая улица

Детство мое прошло на двух улицах – Болотной и Аульской.

Это были хорошие улицы. Ничем не хуже других своих современниц эпохи бурного образования «шанхаев» и «нахаловок». У меня, по крайней мере, они оставили самые приятные воспоминания. Теперь такие улицы доживают свои последние дни. Их срывают бульдозерами и на освободившейся территории строят девятиэтажки башенного типа; разбивают скверы и детские спортивные площадки. И, между прочим, некоторых нестандартно мыслящих людей столь решительное наступление на романтические закоулки начинает тревожить. Недавно один известный поэт даже выступил в печати – рассказал про двор, в котором прошло его собственное счастливое детство. В этом дворе, вспоминает поэт, всегда стояли мусорные ящики, там был небольшой пустырь со свалкой, располагались уютные катакомбы, образованные фундаментом какого-то недостроенного здания. У детей, проводивших во дворе большую часть времени, такая обстановка развивала фантазию, инициативу и предприимчивость – вырабатывала, словом, те качества, которые унылая, однообразная геометрия теперешних хоккейных кортиков и волейбольных площадок, видимо, выработать не в состоянии. В связи с этим поэт призывает архитекторов подумать: нельзя ли, планируя во дворе детский комбинат «сад-ясли», предусмотреть где-то поблизости место и для пустыря с живописно разбросанными по нему свалками, материалом для которых могли бы послужить отходы строительного производства, так и так пропадающие?

Что же, может быть, он и прав. Почему бы, действительно, не свалка? Несколько десятков ломаных железобетонных плит, пять-шесть канализационных труб, арматурные каркасы, немножко битума и карбида, кирпичный бой, стекловата... Большого вреда от всего этого не будет. В конце концов, сам поэт, выросший в описанном им дворе, сделался же вполне приличным человеком. Даже университет сумел закончить.

Вот и автор этих строк под судом и следствием тоже не был. А уж мои-то улицы – по количеству пустырей, свалок, оврагов и канав – сумели бы заткнуть за пояс любые десять дворов вместе взятых. И это – не считая соблазнительных чужих огородов, пустующих сараюшек и предбанников, где без опаски можно было выкурить «бычок» или научиться игре в очко.

Да что там – преинтереснейшие были улицы. Дай бог каждому.

Только с названиями им не повезло.

Вообще, родители мои всю жизнь ухитрялись как-то миновать улицы с достойными именами и поселиться на самых, в этом смысле, обидных.

Например, против нашей Болотной, вдоль низкого левого берега Абушки тянулась улица с красивым названием Береговая. Каждую весну Береговую топило. Жирная мазутная вода загоняла ее обитателей на чердаки, и от дома к дому они добирались на лодках или самодельных плотках. Потом, до самого августа, Береговая сохла. Но высохнуть окончательно так и не успевала: начинались осенние дожди – и она опять превращалась в топкое болото.

Но Болотной почему-то называлась наша улица.

Эта загадка с наименованием улиц мучит меня до сих пор. Я никак не могу понять, откуда берутся Приморские в глубине континентов, там, где нет не только моря, но даже захудалой речушки или озера; почему улицы из рубленных в лапу пятистенков называются Кирпичными и Шлакоблочными, а шлакоблочные поселки, наоборот, – Листвянками.

Мне представляется, что где-то сидит такой старичок-насмешник, который, похихикивая и высунув от удовольствия язык, выскребает из своей картотеки все эти названия – одно нелепее другого.

Иногда шутки его бывают очень даже ехидны. Старичок-насмешник, выдернувший когда-то из картотеки название «Болотная» для нашей улицы, мог быть доволен – он своего добился. Пацаны с Береговой дразнили нас болотниками, лягушатниками и головастиками.

Это было изумительное нахальство. Нахальство, лишавшее дара речи.

Мы враждовали с береговыми. Правда, сам я, по малолетству, не участвовал еще в опасных рейдах, в форсированиях Абушки на бревнах и крышках от погребов, но горячо переживал все известия, поступавшие с театра военных действий.

Как-то раз, однако, попал и я в жаркое дело.

В тот день, слоняясь по улице, я набрел за сараем на приемного сына кума Егора Дорофеева Кешку – главнокомандующего всеми вооруженными силами улицы Болотной. Кешка сидел в полном одиночестве и потрошил окурки, намереваясь, как видно, свернуть себе папироску. Я почтительно остановился рядом. Между мной – пограничной собакой и Кешкой – главнокомандующим была огромная дистанция, не позволяющая мне даже сидеть в его присутствии. Кешка сам снизошел до беседы со мной. Он сказал, что прячется здесь от отца, что, наверное, долго еще будет прятаться, а может, и вообще домой не вернется. Потому что отец пообещал, – если поймает Кешку, – наступить ему на одну ногу и за другую разорвать.

Польщенный таким доверием, я сказал:

– А у нас тоже... когда полы моют, домой не пускают.

– Полы – это что, – вздохнул Кешка.

Мы еще маленько посидели за сараем, съели мой сухой паек – две печеных картофелины, покурили горькую Кешкину папироску. Потом он предложил:

– Айда с береговыми воевать.

Силы были неравны. На левом берегу Абушки бесновались наши многочисленные противники. Позицию на правом удерживали только мы двое.

Береговые перемазались для устрашения жирной мазутной тиной, они орали, кривлялись и обстреливали нас комками грязи.

Худой и длинный Кешка хватал, что под руку попадет, – а попадались обломки кирпича, галька – и вел ответный огонь, не густой, но прицельный.

Я, превысив полномочия пограничной собаки, тоже пытался «стрелять».

Но мои камешки падали, не долетев до середины речки, в то время как Кешкины голыши со свистом секли мелкий кустарник на том берегу.

Один из бросков достиг цели – камень попал в голову пацану с Береговой.

– Драпаем! – крикнул Кешка и, пригибаясь, кинулся в пустые осенние огороды.

– Кешка, попадет нам, а? – спрашивал я на бегу.

– Посадят, – обернувшись, сказал Кешка. – Если найдут...

Сердце мое бултыхнулось и заскулило где-то в самом низу живота.

Не знаю, куда убежал Кешка. А я спрятался в полыни, росшей на меже нашего огорода и огорода соседки тётки Нюры.

Может, я просидел бы там до вечера, если бы не увидел вдруг из своего убежища, как прямо к нашему вроде бы дому шагает какой-то дядька – в гимнастерке и с полевой сумкой через плечо.

Случайного дядьку этого я принял за милиционера, выполз на четвереньках из ненадежной полыни, убежал – маленький и преступный – за крайние дома улицы и залег там в старом песчаном карьере.

Разыскала меня управившаяся с делами мать.

Путь обратно оказался еще более невеселым. Всю дорогу мать подгоняла меня прутом, ругала мучителем и чертом вислоухим.

Этот случай, к тому же, послужил причиной окончательного распада нашего некогда большого и разветвленного семейного клана.

Дома мать напустилась на бабу Акулину.

– Сидишь целый день, палец о палец не стукнешь, – с обидой говорила она. – За ребенком доглядеть тебе трудно... А если бы его там песком засыпало?

Бабка нюхала табак, трясла головой и отругивалась чудовищными словами:

– Я твоим щянкам не сторож. Таскай их, как сучья, за собой...

Мать возмущенно всплескивала руками, кричала:

– Да ты чей кусок-то ешь?! Тебя почему дочки-то твои, кобылицы гладкие, ни одна не взяла, а сноха – дурочка рязанская, голотёпа неумытая – приняла да кормит-поит?!

Пришел младший брат отца, бабкин любимец, дядя Паша. Кажется, мать и ему что-то сказала. Дядя Паша вдруг схватил мать за плечи и толкнул на кровать. Мать упала и «обмерла».

Дядя Паша испугался содеянного.

– Вот психоватая, – сказал он, растерянно улыбаясь. – Ну и психоватая...

Возможно, все еще и утряслось бы как-нибудь, но вмешалась бабка – максималистка в семейных ссорах. Она выскользнула в сенцы, вернулась с маленьким железным топориком и, протягивая его дяде Паше, закричала:

– Павло, руби ей голову!..

У дяди Паши не выдержали нервы. Он схватился руками за волосы и, чертыхаясь, убежал вон.

Пришел с работы отец, хмуро выслушал бабу, поглядел на мать, все еще лежавшую на кровати, решил, видать, что без поллитры здесь не разберешься, и отправился за таковой. Возвратился он довольно скоро – но с четвертинкой. По чуть отмякшему лицу его можно было понять, что первую четвертинку он приговорил самостоятельно, возле магазина.

Отец сидел, положив огромные коричневые кулаки на выскобленную добела столешницу. Между ними стояла непочатая четвертинка. На полу, возле ноги отца, – помойное ведро с переброшенной через край тряпкой. Мне трудно судить о намерениях отца. Можно, однако, предположить: он ждал дядю Пашу, чтобы по-братски, за рюмкой водки, разрешить с ним этот семейный конфликт. Иначе – зачем бы ему хранить вторую бутылочку?

И дядя Паша пришел.

Наверное, он долго к этому готовился, обдумывал, что лучше сказать, собирался с духом, а может, выпил даже для храбрости, как отец. Во всяком случае, дядя Паша вошел гоголем. Он вошел, отставил ногу и, подрыгивая коленкой, гордо сказал:

– Ну что, оживела твоя психоватая?

Отец взорвался.

Он схватил ведро и молча швырнул его в дядю Пашу.

Ведро, чиркнув по потолку и осыпав отца известкой, расплющилось о косяк.

Просчитавшийся дядя Паша бежал вторично – и навсегда.

Отец окинул бешеным взглядом комнату, сгреб ведерный бабкин самовар и выбросил его в окно.

Шарахнулись чьи-то куры, пригревшиеся в песочке под окном, и с кудахтаньем полетели вдоль улицы.

– Тррах! – в другое окно, вышибая раму, отправился кованый сундук с пожитками бабки и дяди Паши.

Только два окна и было в нашей засыпке... У меня эта сцена отпечаталась в памяти какой-то замедленной.

Долго-долго, как рассыпавшаяся ракета, падают мелкие оконные стеклышки... Долго-долго летят куры, теряя перья... Долго-долго стоит на противоположной стороне улицы остолбеневший от изумления кум Егор Дорофеев.

Кума Дорофеева событие это, как выяснилось, потрясло не на шутку. Он как раз шел домой, находясь, по обыкновению, крепко под газом, и вдруг увидел, что из окна самохинской

хаты вылетает хороший медный самовар. Не успел кум сморгнуть, как из другого окна вылетел еще один самовар. За второй самовар Дорофеев принял сундук, и с этим убеждением не расстался, по-моему, до конца дней своих. Во всяком случае, я сам не раз слышал, как подвыпивший кум допытывался у отца – почему тот однажды кидался самоварами?..

Болотная заняла немного места в моей жизни. Зато всё, что случилось там со мной, – случилось впервые. На Болотной я увидел первых красноармейцев. Они маршировали, кололи штыками чучела и рубили лозу на большой поляне за песочным карьером. Однажды красноармейцы «захватили» улицу, и человек пять из них расположились отдохнуть возле нашего дома.

– Эй, пацан! – позвал меня один. – У тебя отец курит?

– Курит.

– Сбегай – попроси у него табачку.

Отца не было дома, но я, опасаясь, что это будет принято за отговорку, решил для надежности соврать (тоже впервые).

– А у него нет, – буркнул я, потупясь. – Он сам стреляет.

Расплата за ложь последовала немедленно.

– Ай да папаша у тебя! – засмеялись красноармейцы. – Ну и орел!.. Стреляет, значит? Он что – всю жизнь стреляет? Небось уже ворошиловский стрелок!..

На Болотной получил я первое прозвище «Мышь копченый» и первую в жизни должность – пограничной собаки. Впервые дрался, впервые испытал страх перед законом, искурил первый «бычок», съел первое яблоко.

Впрочем, первое яблоко я не съел. Как и второе. Получил я первое яблоко, когда мне исполнилось шесть лет.

С этим яблоком в руках я вышел на улицу.

А на улице как раз готовилось большое сражение, шло, в связи с этим, деление на «синих» и «красных» и раздавались командные чины. Должность Клима Ворошилова захватил Кешка Дорофеев. Разобраны были также Чапаев, Буденный, Щорс, Стенька Разин и Амангельды Иманов.

Увидев меня с яблоком, Кешка подошел и сказал:

– Дай сорок. А я за тебя заступаться буду.

Я доверчиво протянул ему яблоко.

Бессовестный Кешка, пользуясь тем, что я не знаком с дробями, откусил не сорок, а шестьдесят процентов.

Затем «сорок» потребовали Чапаев, Буденный, Щорс и Стенька Разин. Чапаев при этом обещал взять меня к себе Петькой-пулеметчиком.

Прежде, чем дать сорок предводителю «синих» Стеньке Разину, я быстро откусил сам, а ему протянул огрызок.

– Подавись ты им, жмот! – обиделся Стенька и запустил огрызком мне в лоб.

В ту же секунду верный союзническим обещаниям Кешка-Ворошилов опрокинул атамана наземь.

«Синие» бросились на выручку своему предводителю. Завязалась схватка, из которой я, несмотря на свой нейтралитет, выбрался с разорванной штаниной, оцарапанным коленом и подбитым глазом.

Ровно через две недели мне снова исполнилось шесть лет, и мать дала мне еще одно яблоко.

Здесь требуется маленькое пояснение. Дело в том, что мать не помнила точно, по какому стилю она меня родила. То ли по новому, а в сельсовете записали по старому, то ли – по старому, а запись, наоборот, сделана была по новому. Словом, до шестнадцати лет мне, на всякий случай, отмечали день рождения дважды в году.

Итак, опять я появился на улице с яблоком.

Кешка Дорофеев поднялся с бревнышек и уверенно двинулся за данью. Он даже ничего не сказал мне, только повелительно разинул рот.

Но я показал Кешке фигу, а руку с яблоком спрятал за спину.

Кешка растерялся. Это был, пожалуй, первый случай неповиновения за всю историю его крутого единовластия на улице.

– Ах, ты такой стал? – спросил он. – Такой, да?.. Такой?..

Тем временем Амангельды Иманов предательски подкрался с тылу и вырвал у меня яблоко.

Амангельды, хотя и учился уже в первом классе, ростом был меньше меня, и догони я его – пришлось бы Амангельды тошно. Но мне во фланг разом ударили Чапаев и Котовский.

«Красные» и «синие» действовали на этот раз исключительно дружно, а вели себя как настоящие «зеленые». Легко выиграв этот неравный бой, они уселись на бревнышках, стали по очереди кусать мое яблоко и меня же обзывать разными обидными словами.

Дома я подвел невеселый итог. Проявленная щедрость принесла мне одну разорванную штанину, одну ссадину на колене, один синяк и шаткую надежду занять должность Петьки-пулеметчика. Жадность – три синяка, расквашенные губы, почти полностью утраченные штанины и – никаких надежд. Вдобавок Амангельды Иманов набил землей мою фуражку и зашвырнул её на крышу сарая...

Несколько слов про Аульскую. Несколько слов, потому что вся речь о ней впереди.

Аульская тянулась в один ряд вдоль длинного, изрезанного оврагами косогора. Косогор сбегал в обширную согру, за которой тускло поблескивали добротные цинковые крыши куркульского форштадта. На форштадте жили коренные старокузнецчане – люди обстоятельные и богатые. Рабочий класс существовал выше – в бараках и немногочисленных двух- и трехэтажных коммунальных домах.

На Аульской же ютился люд вербованный, перелетный: уборщицы, коновозчики, сторожа, сапожники.

Мы перебрались на Аульскую осенью сорок первого года. Улица строилась лихорадочно, с такой же поспешностью, с какой отрываются окопы и траншеи. Поджимала война, и было не до архитектурных излишеств. Кто успевал до повестки – возводил все четыре стены и соорудил над ними двускатную крышу. Но успевали немногие. Чаще просто выкапывали в косогоре яму, к образовавшейся земляной стенке пригораживали три других, закрывали односкатной крышей – и получалась сакля.

Строили по воскресеньям, стучали молотками до свету, в короткие обеденные перерывы и вечерами, после заката солнца. Случалось, кое-где работали и ночью – при свете костра. Это означало, что утром из дома, возле которого всю ночь полыхал костер, выйдет его хозяин – с тощим вещевым мешком за плечами. А рядом, неумело держась за локоть, будет семенить осунувшаяся, ставшая вдруг будто бы ниже ростом жена.

Иногда эти сигнальные костры загорались сразу в нескольких местах...

Вспыхнул такой костер однажды и возле нашего дома...

Семейное окружение

Отец мой был, как говорится, природный пахарь. Но пахал, сеял, косил и молотил он до моего рождения, а сразу после этого события завербовался в рабочие. Я, таким образом, родился на стыке двух разных социальных положений отца. Эта неопределенность долго еще потом смущала меня и озадачивала. Заполняя многочисленные анкеты, я всегда останавливался в растерянности перед графой «происхождение», не зная толком, что же туда вписывать. Иногда я писал «из крестьян», иногда – «из рабочих», а однажды в отчаянии поставил даже – «рабоче-крестьянское». Чувствовал я себя при этом не то скрывающимся попovichем, не то мелкопоместным дворянином. А поставить прочерк или, допустим, знак вопроса у меня не хватало духу. Да это было и небезопасно. С одним моим школьным товарищем произошел такой случай: впервые столкнувшись с анкетой, он вспомнил, что папа его в момент рождения сына отбывал очередное справедливое наказание в местах не столь отдаленных. А до появления сына, как, впрочем, частично и после него, папа промышлял квартирными кражами. И вот, чтобы не вести свое происхождение от домушника, товарищ написал в анкете: «От обезьяны». И хотя это не противоречило в целом нашему материалистическому мировоззрению, товарища долго потом воспитывали на заседаниях комсомольского бюро, на общих собраниях, приводили этот факт, как пример хулиганства и надругательства, в отчетных докладах.

Я не обижаюсь на родителя за неясность моего происхождения. Если он и виноват, то в другом. Вскоре же после моего рождения отцу представлялась возможность круто, и главное – легко, повернуть свою биографию. Я мог бы вырасти в семье и более обеспеченной, и более культурной.

Дело в том, что отец по тем временам считался человеком грамотным. Он окончил четыре класса церковноприходской школы, причем в последнем классе провел два года. Отец не поладил с батюшкой, преподававшим Закон Божий. То есть сам Закон он усвоил изрядно, но батюшка прознал стороной, что в церковь его ученик ходит не молиться, а байбачить. (Отец и его дружки тискали в темном притворе девок, а когда церковный служка обходил верующих с подносом для приношений, норовили погромче брякнуть о поднос медным пятакон и схватить гривенник сдачи.)

Батюшка, справедливо решивший, что теория, не подкрепленная практикой, мертва, на экзаменах вывел отца «неуд» и оставил на второй год.

Зато инженера товарища Клычкова, руководившего ускоренными курсами мастеров сталеварения, давний конфликт отца с русской православной церковью не смутил. Товарищ Клычков, сам молившийся только на индустриализацию, видел в отце прежде всего крепкого молодого мужчину, знакомого не только с четырьмя действиями арифметики, но даже с простыми дробями. И такой ценный человек, лениво посвистывая, разъезжал на лошадке, между тем как добрая половина учеников товарища Клычкова едва-едва умела читать и писать.

Инженер подкарауливал отца во время обеденного перерыва, хватал за полу железного дождевика и, посадив рядом, угощал кефиром.

– Иди ко мне, Яков Григорьевич, – звал товарищ Клычков. – Я из тебя мирового мастера сделаю. Не век же тебе кобыле хвоста крутить.

Он заманивал отца в мартеновский цех и, льстиво заглядывая в глаза, рисовал перспективу.

– Сегодня ты мастер, – говорил он, – а завтра, глядишь, начальник участка... А там – начальник цеха... А там – половиной завода заворачивать начнешь!.. Какие твои годы...

Отец пятился от слепящего металла, царапал негнушимися пальцами ворот рубашки и бормотал:

– Ну его к такой матери... Жарко здесь... Айда на волю.

Он так и не дал себя уговорить – остался на всю жизнь коновозчиком. По трем великим стройкам прогромычала его телега – по Кузнецкому металлургическому комбинату, Сталинскому алюминиевому заводу и знаменитому Запсибу.

Эта работа давала возможность только-только прокормиться, но зато оставляла отцу его свободу.

Тем не менее, как только отец обнаружил, что сын превзошел его в грамотности – а случилось это, когда я познал недоступные ему десятичные дроби, – для меня он стал мечтать о несвободе.

Обычно это происходило дважды в месяц, в дни получки и аванса, когда отец распивал традиционную бутылочку со своим дружкой дядей Степой Куклиным. После четвертой рюмки они начинали хвастаться сыновьями. Дядя Степа, бывший в молодости неотразимым и безжалостным сердцеедом, видел в сыне повторение себя.

– Красивый растет, заррраза, – говорил он, со злобной одобрительностью скаля зубы. – Уже волосы начинают курчавиться. Вот здесь, над ушами. Как у меня. У-ух, девок будет шерстить, подлец!..

Отец, не имевший возможности похвалиться моей курчавостью, упирал на иные качества.

– А мой Миколай – голова! – кричал он, придвигаясь к дяде Стёпе. – Башка!.. Вот погоди маленько – он себя покажет. Придет к нам на конный двор – и Старкова побоку... (Старков был начальником конного двора.) А что ты думаешь? Спихнет. Какая у Старкова грамотешка? Три класса, четвертый – коридор... А там – дальше-больше – в трест придет: Вайсмана побоку!.. А там – глядишь – в райком, заместо Косорукова... А там – в горком!

Почему-то, в представлении отца, ни одну из этих должностей я не мог занять мирным путем, а непременно должен был кого-нибудь спихивать, скovyривать, давать кому-то по боку и по загривку.

Может быть, опыт убеждал его в том, что начальники добровольно не уходят, а здоровое пролетарское чутье подсказывало, что менять их время от времени надо? Не знаю. Во всяком случае, по отношению ко мне это выглядело нечестно: сам-то папаша умыл руки раз и навсегда. Почему же мне надо было спихивать этих озабоченных людей и занимать их должности?

Нет, я не собирался ни в трест, ни в горком.

И вообще, если уж честно признаться, я больше всего мечтал стать Ходжой Насреддином. Но мои личные планы никого не интересовали. Такова уж горькая детская доля.

Ребенок не успевает еще износить и пары собственных сапог, а уж долг его перед семьей и человечеством достигает невероятных, циклопических размеров.

Все от него чего-то ждут.

Отец хочет видеть его министром или, по меньшей мере, директором завода.

Дядька рассчитывает, что он станет звездой футбола, будет ездить по заграницам и привозить родственникам – в том числе и ему, дядьке, – дорогие подарки, хотя сам он вот уже полгода не может подарить племяннику клятвенно обещанные цветные карандаши.

Дедушка, грея возле печки ногу, простреленную во время Первой мировой войны, твердит: генералом, генералом...

В детстве я прочел где-то слова «семейное окружение» и понял их так: многочисленные родственники, вооружившись кто чем попало, окружают маленького испуганного пацана, требуя немедленной капитуляции. Кольцо сжимается, несчастную жертву вот-вот схватят и примутся нарасхват отрывать уши.

Оказалось, я был недалек от истины. Такое окружение действительно существует, только вооружены окружающие не обязательно одними ремнями и скрученными полотенцами. У них в руках положительные примеры, нравоучения, воспоминания о собственном непорочном младенчестве, запреты и требования.

Из семейного окружения, точно так же, как из любого другого, вырваться очень трудно. Оно же с готовностью расступается и пропускает извне кого угодно – любого знатока детской души с его догмами, в которые никто из окружающих давно не верит, но все считают, что в них необходимо заставить поверить ребенка.

При этом, – если ребенок вырастает достойным человеком, – семейное окружение все заслуги приписывает только себе. Если же, несмотря на соединенные, а вернее – разъединенные и противоречивые усилия, из него получается-таки негодяй, виноватыми остаются школа, улица, милиция, государство, врожденные пороки воспитуемого – но не семейное окружение. «Ах, мы учили его только хорошему!» – в один голос твердят дядьки, тетки, дедушки и бабушки, искренне не понимая того, что от постоянных «пирожных» даже ангела может потянуть на «пиво и селедку».

Словом, окруженный должен в первую очередь полагаться на собственные силы. Ребенок, если он не совершенный кретин и не подлиза, может более или менее сносно просуществовать внутри ревнивого кольца родственников. Он сумеет даже, решительно действуя на стыках, вырваться иногда за пределы его и, официально числясь окруженным, совершать самовоспитательные рейды за спиной противника.

Мне в этом смысле, можно сказать, повезло. Мечта отца не была очень навязчивой. Как правило, пропустив еще по рюмке, они с дядей Степой меняли тему. Дядя Степа, уронив на руку голову в редких кольцах русых волос, надрывно запевал:

Пишут мне, что ты сломала ногу!
А пач-чему ты не сломала две-э?!

Отец невыразительно и бесцветно, думая уже о чем-то другом, еще несколько раз повторял: «А там – горком... хм, горком...» – и забывал о моем будущем до следующей получки. Вообще, эти короткие приступы родительского честолюбия были того же сорта, что и, например, мечта отца переселиться в таинственный город Талды-Курган, которой он загорался время от времени.

– Вот бросим всё и уедем! – говорил он, возбужденно блестя глазами. – Завтра же заколочу окна, в такую голову!.. А чего тут высидывать? Там люди по яблокам ходят.

В обычные же дни, в промежутках между своими загораниями, отец был молчаливым, хмуро-отрешенным человеком. Он ходил на работу, копал огород, чистил глызы² в пригоне, подшивал нам, ребятишкам, валенки – делал, словом, все то же, что и другие, но жизнь, казалось, обтекала его.

Чем бы отец ни занимался, глаза его оставались сосредоточенно-пустыми, словно повернутыми вовнутрь, а губы были сложены трубочкой, как будто он беззвучно насвистывал. Что он там рассматривал, в глубине своей души? Какие мелодии неслышно слетали с его губ?

Отрешенность отца была просто анекдотичной.

Помню, однажды майским днем я бежал из школы. Отец догнал меня на паре своих «монголок».

– Прыгай, Миколай, подвезу! – крикнул он, натягивая вожжи. – Из школы?

– Ага, – кивнул я и похвастался: – Кончили занятия. С завтрашнего дня – каникулы. Уже и табеля выдали.

– Перевели, значит? Молодцом! – похвалил отец. – Это в какой же ты класс нонче перешел?..

² Глызы – навоз.

Теперь, когда я вспоминаю тот давний случай, меня даже охватывает своеобразная гордость. Вряд ли, думаю, на свете отыщется еще десяток людей, которые могут похвастаться столь редкостными папашами.

Такой же беспредельной была непрактичность отца или, вернее, – равнодушие к выгоде для себя.

Наверное, даже угроза потопа, землетрясения или другой какой катастрофы не смогла бы заставить отца искать, где лучше.

Осенью сорок второго года его взяли на фронт. Это уже было время, когда новобранцев не бросали в бой прямо из теплушек, а сначала мало-мальски учили военному делу.

На первых же стрельбах у отца выявился талант – он положил все три пули точно в десятку. Вечером в землянку пришел незнакомый лейтенант, выкликнул отца и спросил – не хочет ли он пойти в школу снайперов?

– Никак нет, не хочу! – ответил отец, не утруждая себя и секундным раздумьем.

Тогда лейтенант велел отцу садиться, сам присел на краешек нар и стал его уговаривать. Отец слушал, рассеянно глядя перед собой, слова лейтенанта влетали ему в одно ухо и легко выпархивали из другого.

Лейтенант перебрал все доводы, начал приводить уже вроде бы неположенные: дескать, чего упираешься, чудило? Там ведь, на фронте, между прочим, убивают. А в школе перекантуешься какое-то время – все отсрочка. Да и потом шансов больше уцелеть: все же снайперов так не косят, как рядовую пехтуру... Наконец, видя, что уговоры отца не прошибают, лейтенант вспылил:

– Да куда ты спешишь-то, дурья башка?! Боишься – без тебя Берлин возьмут?

– Так точно, – ухватился за эту мысль отец. – Опасаюсь – вдруг без меня.

– Долго опасаться придется! – сказал лейтенант и вышел, хлопнув дверью.

Через несколько месяцев под одной деревенькой осколками мины отцу раздробило кисть левой руки.

Тот лейтенант был прав – пехоту на войне выкашивало быстро.

Изуродованная рука была последним шансом отца преуспеть в жизни. В условиях послевоенного дефицита на мужчин возвратившиеся фронтовики уверенно занимали средние начальственные высоты, вышибая окопавшихся на них белобилетников и тыловых жучков. Отцу были предложены на выбор три должности: бригадира, завскладом и начальника ВОХР объединенного к тому времени гужтранспортного хозяйства.

Отец отказался от всего.

Он выучился запрягать лошадь одной рукой и поехал по жизни в прежнем качестве.

В общем, на том отрезке окружения, который надлежало удерживать отцу, я мог маневрировать сколько угодно. Что я и делал. Закончив семилетку, я собрался в мореходное училище и объявил дома о своем решении. Но потом передумал и поступил в металлургический техникум.

Отец долго удивлялся: почему я не ношу морскую форму? То, что от города Сталинска до ближайшего моря – четыре тысячи километров, его ничуть не настораживало.

Я бросил техникум и снова пошел в школу, получил аттестат зрелости, уехал в другой город и однажды заявился домой на каникулы в форме студента водного института.

Отец, решивший, что видит перед собой флотского офицера, одобрительно сказал:

– Все же добился своего?.. Молодцом!

Дядьки мои были людьми веселыми и беспечными. Дядя Паша (они после того самоварного погрома скоро помирились с отцом, хотя вместе жить больше не стали) поднимал меня высоко над головой и, указывая на пролетающий аэроплан, спрашивал:

– Будешь летчиком, Колька?

– Нет, – отвечал я, – боюсь.

– А чего ты боишься?

– Полечу над Абушкой – упаду и утопну.

Дядя Паша хохотал:

– Ну, утопнуть не утопнешь, а перемажешься – это точно! – И отступался от меня.

Я и сам знал к тому времени, что в Абушке утонуть невозможно, но такой ответ был лучшим способом отвязаться от осоавиахимовца дяди Паши.

Совсем молодой дядя Ваня – брат матери – был так занят ухаживанием за своей тоненькой пухлогубой невестой, что вовсе меня не замечал.

Гости, приходившие в наш дом, твердили в один голос:

– Ну, этот артистом будет!

В то время, перед войной, к нам часто приходили гости. Они снимали пиджаки, рассаживались – нарядные и оживленные – вокруг стола, шумно спорили о чем-то и пели песни:

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год...

Находилось дело и для меня. Я взбирался на табуретку и читал стихи про генерала Топтыгина.

– Артист, артист! – одобрительно говорили гости и бросали в мою глиняную кошкучопилку серебряные монетки.

Но однажды к нам пришел третий дядька – дядя Кузя. Они о чем-то пошептались с матерью, а потом посадили меня напротив, и мать сказала:

– Вот дядя Кузя просит у тебя денег займа. Ты как – выручишь его?

– Я тебе их верну, – заторопился дядя Кузя. – С добавкой верну.

Кошечку ударили молотком – и горка серебра рассыпалась по столу.

Дядя Кузя уважительно присвистнул:

– Ай да Никола! Какие деньжищи скопил!.. Быть тебе наркомом финансов.

Предсказание его, конечно, не сбылось. Сам же дядя Кузя этому способствовал. Целый год он рассчитывался со мной конфетками и мороженым и так развратил меня, что я до сих пор предпочитаю конфетку во рту гривеннику на сберкнижке.

Естественно, что при таком странном, не от мира сего, папаше и таких ненастойчивых родственниках семейное окружение осуществляла у нас преимущественно мать. Ей приходилось удерживать весь огромный фронт, протяженностью от наших попыток утонуть в речке до намерений бросить школу, не доучившись до пятого класса. Конечно, в такой напряженной обстановке матери некогда было прогнозировать наше будущее. Все её надежды и упования сведены были поэтому к минимальной программе: лишь бы по тюрьмам не пошли.

В основном мать вела ближний бой, используя для этого подручные средства: ремень, мокрую тряпку, бельевую верёвку, веник-голик, резиновую калошу, сковородник и валенок. Ежедневно в среднем две с половиной лупцовки приходились на старшую сестру, полторы – на меня и одна четвертая – на младшего брата. Столь неравномерное распределение объяснялось тем, что за провинности младшего брата чаще попадало нам, как недоглядевшим.

Казалось бы, эти непрекращающиеся бои местного значения должны были отнять у мамы все силы. Тем не менее, когда она сталкивалась не с рядовым нашим озорством, когда ей мерещилась опасность нравственного падения, она умела превратиться в незаурядного стратега. Я до сих пор дивлюсь тому стихийному таланту воспитателя, который мать – почти безграмотная, никогда не читавшая книг женщина – обнаруживала в иные моменты.

Однажды мы с товарищем принесли домой маленький аккуратный топорик.

– Где взяли? – насторожилась мать.

– Нашли! – похвастались мы и взалхлеб принялись рассказывать: – Мы идем, да... глядим, да... он лежит!

– Ну-ка, ну-ка, где же это он лежал?

Мы объяснили – где.

У всех на нашей улице огорода спускались к согре. Здесь, на границе с согрой, многие выкапывали ямки-колодцы для полива. Вот возле такой замерзшей уже и продолбленной ямки и лежал полузасыпанный снегом топор.

– Ах, вражьи дети! – всплеснула руками мать. – Вы же его украли!

Мы позволили себе не согласиться. Даже обиделись: как это так? Ямка – вон где, а топорик вовсе сбоку лежал, шагах в пяти.

Тогда мать стала задавать нам вопросы: приходилось ли нам видеть, чтобы топоры росли на деревьях? падали с неба? вылуплялись из яичек?.. Не видели. Та-ак... Значит, это чужой топорик. Кто-то смастерил его. Или купил в магазине. А мы украли. И выходит – мы воры. Самые настоящие.

– А теперь, сынки мои милые, – сказала мать жестким голосом (это она умела – говорить ласковые слова жестким голосом), – теперь, голуби ясные, ступайте обратно и положите его на место. Да глядите у меня, если встретите там, возле ямки, дяденьку или тетеньку, скажите им: дяденька, мол, или тетенька, мы топор ваш украли – возьмите назад. Укра-ли! Не нашли, а украли. Слышите? А я потом схожу – проверю: так ли вы сказали.

Что красть нельзя, мы знали. Вернее так: мы знали, что красть опасно.

Мне приходилось даже видеть, как бьют воров.

Первый раз это был голодный ремеслушник. Его поймали рано утром в огородах возле заводских барачков. Поймали ремесленника женщины и, наверное, давно уже били, потому что, когда я поравнялся с толпой (я бежал в магазин за хлебом), они как раз перестали махать руками и стояли вокруг него, разгоряченно дыша. Было очень тихо.

Из-за крыш барачков настороженно выглядывало маленькое и неяркое, затушеванное туманом солнце.

Четыре вывороченных куста картошки увядали на краю огорода.

У ремеслушника были остановившиеся неживые глаза, штаны с него сползли, открыв синий живот и тощие ягодицы, из носа на подбородок текло красное. Он медленно покачивался.

В этот момент в круг протиснулся подоспевший к шапошному разбору единственный мужичонка – маленький, щуплый, востроносый. Видать, он слышал где-то о том, как расправляются с ворами настоящие сильные мужчины: поднимают над землей и с маху сажают на копчик. И ему захотелось показать перед бабами свою силу, а ее не было. Мужичонка брал ремеслушника под коленки, поднатужившись, чуть-чуть отрывал от земли и ронял... Отрывал и ронял... Отрывал и ронял...

На лице его дрожала гадостная виноватенькая улыбка: погодите, дескать, маленько, сейчас еще разок спробуем, может, получится...

В другой раз били Кольку Хвостова с нашей улицы.

Колька был уже не мальчишка, а парень, но слабоумный малость: нигде не работал, не учился, пакостил соседям, и мать с отцом плакали от него слезами.

Он стянул что-то из сеней у многодетной солдатки тёти Поли и был схвачен.

Его тоже поймали женщины. Они вели Кольку, растянув за руки, вдоль улицы, а навстречу, из-под горки, бежал от своего дома сосед тети Поли Алексей Гвоздырин, оказавшийся в этот день не на работе. Гвоздырин набежал на Кольку и стал хлестать его справа и слева своими черными кулачищами.

Он так усердствовал, что даже сама обворованная тетя Поля закричала:

– Алексей, будет!.. Алексей, не надо!.. Господи, да что же это!

Видеть такое было страшно. Страшно до подсекаания ног, до тошноты. Однако не воровство при этом казалось отвратительным. Наоборот, вору вызывали жалость и сочувствие.

Но, господи! – до чего стыдно было нести обратно топорик, после того как мать убедила нас в преступности содеянного!

По улице идти вообще не решились: казалось, что из каждого полузамерзшего окошка на нас смотрят чьи-то глаза. Мы спустились вниз и, утопая в снегу, пошли целиной вдоль огородов. Рядом, между прочим, вилась тропка, но и она теперь была не для нас. Полчаса назад от колодца, гордо помахивая находкой, шагали честные люди. Теперь крались назад вору.

Мы горбились, втягивали головы в плечи, поминутно озирались, хотя вокруг не было ни души.

Последнюю стометровку вовсе ползли, зарывшись в снег по самые ноздри.

Подползти к яме мы так и не осмелились. Когда до нее осталось метров десять, кинули топорик швырком и, вскочив на ноги, во весь дух припустили от проклятого места...

Вот итоги семейного окружения.

Матери я обязан тем, что не пошел по тюрьмам. Это было главной ее заботой, о чинах и богатствах для нас она не мечтала, и до сих пор основным достоинством детей считает то, что они, по крайней мере, едят некраденый хлеб.

Отец не следил за своим участком фронта. Траншеи его осыпались, заросли лебедой и полынью. Как ни странно, я теперь благодарен ему именно за это. Я так и не научился спихивать, скovyривать и давать по боку. Отец сам не носил в солдатской котомке маршальский жезл, и ему нечего оказалось переложить в мой ранец.

В этом смысле ноша моя легка.

Войны и междоусобицы

Воевать я начал рано.

Взрослые еще жили воспоминаниями о прежних схватках. Еще отец мой на гулянках, зажмуриваясь и мотая головой, самозабвенно выводил:

Па-а-гиб на Мартовской заста-а-а-ве
Чекист Павле-е-нко Михаил!

А я уже сражался с «фашистами» и «самураями»... В качестве пограничной собаки, как сообщалось выше.

Не надо смеяться. Если мне за что-нибудь и следует поставить хотя бы малюсенький памятник, то, конечно же, за мою службу пограничной собакой. Потому что ни одну работу в жизни я не исполнял потом с таким рвением и с такой отдачей, как эту.

Войны мы вели всамделишные и многодневные. Заранее в разных концах улицы (это было еще на Болотной) возводились снежные крепости в три пацанячьих роста – с башнями, бойницами, тайными лазами. Крепости обливались водой и дозревали потом на морозе.

По ночам, вооружившись лопатами, железными прутьями, стамесками, приползали вражеские диверсанты – ковырять стены недостроенных твердынь. Если охрана обнаруживала диверсантов, то первым на них бросался я – пограничная собака. Причем, по условиям игры, я не имел права подниматься с четверенек.

Диверсантов хватали. Заломив руки за спины, вели в неусыпно функционировавший штаб, там допрашивали, а затем расстреливали под стеною крепости заледенелыми снежками.

После такого расстрела многие диверсанты уходили домой, шмыгая разбитыми в кровь носами.

Словом, на войне было как на войне. Настоящие строгость и дисциплина, настоящие герои и настоящие предатели, которых не приведи бог как валтузили свои и презирали чужие.

Были даже морально разложившиеся элементы, терроризировавшие мирное население.

У нас таким элементом числился Юрка Бреев, приемный сын дяди Паши. Юрка запикивал в карманы несколько перегоревших электролампочек, в самый разгар сражения сворачивал к своему немилому дому и бомбардировал его настывшие стены.

Лампочки лопались с ружейным звуком. На двор с кочережкой в руках выбегала разъяренная бабка Акулина, и под ее натиском рассыпались ряды атакующих. Кочережка подследповатой бабки Акулины была неразборчива – доставалось и правым, и виноватым.

Юрку не отправляли в «трибунал» только потому, что он терроризировал свой, а не чей-нибудь дом. И еще потому, что конфликт его с бабкой Акулиной на улице уважали.

По-настоящему мы отмечали и свои победы.

Кешка Дорофеев выстраивал поцарапанное, задохнувшееся воинство в шеренгу, раскуривал папироску и, выкликая бойцов по одному, награждал генеральской затяжкой из своих рук.

– Михрюта! – командовал он. – Два шага вперед!

– Кыня!..

– Филипон!..

– Репа!..

– Шарыча!..

– Козел!..

– После сопливого не буду, – дерзко говорил Козел. (Мы уважали своего командира, но в принципиальных случаях держались независимо – каждый знал себе цену.)

Кешка грозно ломал белесую бровь:

– Шарыча! Сопли ликвидировать!.. В двадцать четыре часа!

Он сам отрывал измусоленный кончик мундштука и вновь протягивал папиросу Козлу. Последним Кешка награждал меня.

– Копченый! – выкрикал он, сокращая мое длинное прозвище, и я впервые за всю кампанию шел к нему на двух ногах.

Говорят, игра не доводит до добра. Мы так неистово играли в войну, в одну только войну, не признавая никаких других забав, что настоящая война, видимо, просто не могла не начаться.

Конечно, на самом деле это не так. Все наоборот: мы потому и играли в войну, что она давно уже грохотала в мире, неотвратимо катилась к нашему порогу. И все же, когда я теперь вспоминаю тогдашнюю нашу воинственность, она кажется мне страшным пророчеством, и я с невольным суеверием присматриваюсь: во что играют нынешние мальчишки?.. И, когда они всего-навсего гоняют шайбу или, забираясь по очереди в раздобытую где-то кразовскую покрывку, катают друг друга по двору, тренируясь на космонавтов, мне верится почему-то, что завтра опять наступит мирное утро...

Начало настоящей войны ознаменовалось тем, что вдруг исчезли веселые люди... До этого, точно помню, их было очень много: молодых, светлолицых, добрых людей моего довоенного детства. Они носили белые рубашки с подсученными рукавами и гимнастерки, смеялись, пели, ездили, стоя в кузовах трехтонок и полуторок, а над ними кружились маленькие аэропланы, рассыпая листовки.

Наверное, потому что я был еще очень мал, мне трудно разделить их по лицам, головам, росту. Они запомнились мне как один человек, вернее – как одна майская демонстрация. Так какое-нибудь далёкое-предалёкое лето остается в памяти одним солнечным утром, одним радостным ливнем или одной таинственной канавой с лопухами.

И вдруг их не стало. Исчезновение редких гостинцев – яблок, конфет, мороженого, обязательных пельменей по праздничным дням я обнаруживал чуть позже. А сначала пропали веселые люди.

И тогда заметнее стали люди плохие. На улице Аульской, куда мы переселились в начале войны, скоро все узнали имена уклонившихся от фронта «грыжевиков».

Самым ненавистным из них был Алексей Гвоздырин, живший от нас через один двор, тот самый, который однажды бил воришку. Непонятно, когда Гвоздь успел отстроиться на зачинающейся Аульской. Остальные еще спешно лепили свои хибары, а его изба уже стояла готовой. Лучшая на улице изба – крепкая, основательно врытая в землю, похожая на дот. В этом своем доте Гвоздь и пересидел войну. Семейство его не бедствовало. У Гвоздырина был самый большой на улице огород, самая породистая корова – остроорогая симменталка Красуля, самая пышнотелая жена – дурашливая и бессовестная тетка. Это она оповестила соседок про обнаруженный вдруг у мужа дефект.

– Ой, бабоньки-и-и! – пела она, радостно выпучивая светлые глаза. – А у мово-то Лексея грыжа!.. Кака-така грыжа – хоть бы посмотреть? Покажи, говорю, идол, а он не кажет... Ой-и, не знаю, чё теперь делать? Придется, однако, полюбовника заводить. Видать, теперь у Марей отобью Аксеныча-то её, глуху тетерю. Марей, твой-то хоть как, без грыжи?

Казалось, Гвоздыриха нахально смеется в лицо хмурым соседкам, проводившим на фронт своих мужей и сыновей.

Сам Гвоздь был мужик очень крепкий. Сутуловатый, узкоголовый, он ходил наклонясь вперед – будто тянул за собой невидимый воз – и напоминал чем-то упорного и злого коня.

Впрочем, и остальные «грыжевики» выглядели не слабее Гвоздырина. Круглолицый, черноглазый хохол по фамилии Брухо был невысок, но так прочно сколочен, и такая у него была упругая кирпичная рожа, что казалось, им можно забивать сваи.

Наш правый сосед дядя Петя Ухватов одной рукой ставил на телегу куль с картошкой так же легко, как хозяйка ставит на плиту чайник. Таких здоровых людей мне не приходилось встречать ни до, ни после. Как, наверное, все силачи, дядя Петя был смирен, добр и не предпринимчив. Грыжу ему раздобыла его проворная жена тётя Дуся.

Все белобилетники работали на конном дворе и, если учесть, что бригадир их Балалайкин, длинный мужчина с маленькой кудрявой головой, тяготился такой же болезнью, – «грыжевиков» набиралось в аккурат бригада.

Кроме «грыжевиков» осталось на Аульской еще несколько мужчин, к фронту непригодных.

Инвалид финской войны, безногий Семен Ишутин. Семен был тихий человек, ездил на низенькой тележке с колесами из шарикоподшипников и торговал папиросами «Северная Пальмира». Тихим он, впрочем, пребывал до тех пор, пока не наторговывал себе на водку. Тогда Семен напивался, делался буйным, слезал с тележки и, упираясь одними руками, с таким проворством начинал гоняться за своей женой и дочками, что они в страхе разбежались по соседям.

Максим Аксенович Крикалин – старый, костлявый, глухой, как валенок. Его мы любили: за геройских сыновей (у Максима Аксеновича два сына были на фронте), за рыжие казацкие усы, за бравую выправку и за веселое враньё. Враль Максим Аксенович был несусветный. Видать, потому, что других он слышать не мог, сам поговорить любил, а все правдивые истории пересказал, когда еще был помоложе.

Анисима Ямщикова не взяли на войну за многодетность, глупость и врожденную зубную боль. Зубы у Анисима болели постоянно, он вечно ходил завязанный белым грязным платком, боль свою переносил стойко. Временами, однако, боль донимала Анисима, про что соседям тут же становилось известно благодаря жене его – здоровой, рыхлой, громогласной женщине.

– Ну, чё корежишься, чё ты корежишься! – разносился вдруг на всю улицу ее могучий голос. – Болят, что ли?.. Дак пополошшы водой! Вон на летней плите вода стоит тёпла, возьми да пополошши!

На ямщиковском дворе воцарялась короткая тишина – Анисим, следуя совету жены, полоскал зубы. Но скоро голос Ямщичихи снова начинал содрогать плетни и оконные стекла:

– Ну чё опять косоротись, чё косоротись! Водой-то полошшишь? Не помогут?.. Да ты чё же, горе луково, глоташь воду-то? Ты пополошшы да выплюни! А ты глоташь – вот они и болят!..

Долгое время я считал, что из всех «грыжевиков» по-настоящему болен один дядя Петя Ухватов. Голова дяди Пети постоянно клонилась к правому плечу, в то время как огромный кривой нос был повернут в сторону левого. Из-за этого маленькие, серые, часто мигающие глазки дяди Пети смотрели жалобно, и дядя Петя казался очень несчастным. Между тем нос его смотрел в сторону с рождения, а шею дяде Пете неопасно повредили в одной давней свалке. Дядя Петя как-то, на спор, вызвался бороться сразу с четырьмя мужиками и всех поборол. Только шею они ему маленько своротили.

Я про это тогда не знал.

А что дядя Петя здоров, как слон, выяснилось из другого.

Подшло время продлять Ухватову грыжу, и жена его, Дуся, прибежала к моей матери посоветоваться. Она отвернула край полушалка, показала отрез какой-то очень дорогой материи и спросила, что лучше: отдать кому-то там этот отрез или поросенка?

Мать сказала, что не знает, почем нонче грыжи.

– Ох, да кабы грыжа! – вздохнула тетя Дуся. – Моему-то погрозили вырезать. Вырежем, говорят, и – на фронт. А кого ему вырезать-то – подумай? – тетя Дуся хихикнула. – Нет, теперь, видно, насчет чахотки надо справку.

Не очень таились и остальные «грыжевики». Брухо первое время ходил прихрамывая и плаксиво морщил лицо. Но плаксивое выражение, во-первых, не личило Брухе – все казалось, что он дразнится. Во-вторых, ему великих трудов стоило наморщить свою физиономию – настолько туго была она обтянута лоснящейся кожей. Брухо уставал. Так что, поколотившись недели две, он снял маскировку.

Нахальнее всех держал себя бригадир Балалайкин. Его, как самого молодого и бездетного, женщины корили в глаза. Балалайкин только похохатывал, запрокинув голову и выставив кадык.

– Броня крепка, бабоньки, – говорил он. – Броня крепка, и танки наши быстры...

Чудовищный этот Балалайкин не стеснялся по праздникам ходить на гулянки. С гулянок у нас не принято было выгонять даже неприятных людей. Наоборот, подобревшие от бражки женщины даже потчевали Балалайкина, как единственного мужика, – следили, чтоб стакан его не простаивал порожним.

Балалайкин, захмелев, пел песни:
Кони сытые бьют копытами —
Разобьем под Сталинском врага!

Город Сталинск находился рядом, за рекою Томью – и значит, Балалайкин собирался допустить врага аж сюда.

Инвалид финской войны Ишутин хотел однажды побить ему за это морду, но не дотянулся до верзилы Балалайкина со своей тележки...

Игра в войну кончилась. Больше не надо было изобретать врага: делиться на «самураев» и «наших» или хотя бы – когда не находилось желающих идти в «самураи» – всем вместе рубить полынь. Враг – живой, а не понарошку назначенный – оказался рядом, полынь же не стоило вырубать потому, что она стала теперь нашим партизанским лесом.

Первую операцию мы провели против Балалайкина, и провели блестяще. Мы не объявляли ему войны. Балалайкин был хуже фашиста. Он не способен был щадить ни детей, ни женщин, и объяви мы ему войну открыто – Балалайкин просто переломал бы нам ноги.

Акция поэтому совершалась тайно.

Каждый вечер Балалайкин возвращался домой пьяным. Бригадирская должность позволяла ему угоститься на дурничку, и жадюга Балалайкин наливался водкой до остекленения. Шел он потом вслепую, тяжело давя землю сапогами сорок пятого размера, его бросало из стороны в сторону, гнуло пополам, но все же Балалайкин не падал, пока не спотыкался о собственный порог. Этой своей способностью Балалайкин очень гордился, выставлял её перед рядовыми коновозчиками как примерное качество, людей, которые ночуют по канавам, не уважал и хвастался, что сам может дойти вдребезину пьяный хоть из Китая.

Разработанная нами диверсия была проста до гениальности. Мы приблизили Балалайкину порог. В узком проулке между огородом инвалида Ишутина и забором строящегося Аллюминиевого завода мы натягивали по-над землей тонкую стальную проволоку и, схоронившись в ишутинской картошке, ждали появления противника.

Балалайкин спотыкался о проволоку, падал и тут же засыпал.

Тогда из картошки выползали добровольцы – мочиться на сволочь Балалайкина. Дело это считалось не обязательным, к нему никого не принуждали, но охотники всегда находились. Ради этой сладостной минуты они с полудня экономили боеприпас. Между ними почиталось даже за особую доблесть накопить такого боеприпаса как можно больше, дотерпеть и обстрелять затем поверженного Балалайкина, не выказывая торопливости. И когда однажды младший из братьев Ямщиковых Юзя, не добежав до места, пустил очередь в штаны, командир наш, Васька Вагин, презрительно обозвал его самострелом.

Скоро у Балалайкина выработался условный рефлекс. Он стал падать в проулке, если даже проволока не была натянута. Мы сняли осаду, сохранив только небольшой отряд добровольцев, и сосредоточили свои силы на других участках фронта. Балалайкин теперь катился по наклонной без нашей помощи.

Коновозчики, видя, что он сравнялся по стойкости к выпивке со всеми остальными, перестали его угощать. Балалайкин закусил удила и, в надежде вернуть былую славу, продолжал пить на свои. Но даже его железный организм не смог пересилить науку. Условный рефлекс аккуратно валил Балалайкина под забор – каждый раз в одном и том же месте.

Только полтора месяца терпела такую жизнь молодая жена Балалайкина Зина. А потом собралась в узелок юбки и уехала назад к матери, в деревню Кузедеево.

Брошенный Балалайкин запаршивел вконец. Некому стало среди ночи затаскивать его в дом, обмывать, опохмелять рассолом, отпаивать горячим чаем. Грязный, загаженный, Балалайкин просыпался под забором в шесть утра, а к половине седьмого ему надо было уже появляться на разнарядку. Он почернел, одичал, кудри его сваялись. Коновозчики, сами навечно пропахшие конским потом, ременной сбруей, назьмом, брезгливо воротили от вонючего Балалайкина носы.

Кончилось тем, что Балалайкин исчез с конного двора.

А однажды утром и дом его обнаружен был заколоченным.

Победа наша была полной и окончательной.

Алексей Гвоздырин, в отличие от Балалайкина, знал, что против него открыт второй фронт. С Гвоздыриным мы вели затяжную позиционную войну.

Временами он даже переходил в наступление и добивался успеха на отдельных участках.

Гвоздырин, например, выкашивал в согре наши заветные полянки, а заодно разрушал шалаши – места тайных сходок.

Мы в ответ, не дав траве просохнуть, сгребали её в кучу, поджигали и бесновались возле костра до тех пор, пока Гвоздь не выскакивал из дома с кнутом в руках.

Мы рассыпались по кустам, мяукая и лая, заманивали ополоумевшего от злости Гвоздырина в глубь согры, а тем временем специальная ударная группа совершала глубокий рейд, выходила в тыл неприятелю и забрасывала его колодец бутылками с карбидом.

Гвоздырин, приведенный в отчаяние нашей неуловимостью, заводил собак, специально покупал их парами, чтоб могли они действовать дружнее и бесстрашнее.

Мы отправлялись на форштадт, к королю собачников кривому Пиню и говорили, что знаменитый его волкодав Злодей нипочем не одолеет гвоздыринских псов.

Оскорбленный Пиня брал Злодея на поводок и вел сражаться с кобелями Гвоздырина.

Схватка обычно продолжалась недолго. Скоро Гвоздырин выбегал из дома с дрыном – отбивать своих полузадушенных собак.

Тогда Пиня, рванув на груди рубашку, кричал: «Не по правилам!» – и тоже выламывал из плетня кол. Превыше всего Пиня уважал справедливость, он готов был живот положить на алтарь ее...

Алексей Гвоздырин мог бы прожить тихо и неприметно, удовольствовавшись тем, что избежал фронта. Как жили, например, Брухо и дядя Петя Ухватов. Но кулацкая натура его не знала удержу. Гвоздырин неприлично богател. Тучнела его жена, разрастался и благоухал его унавоженный огород, множилась скотина.

Никто не любил Гвоздырина, а он не замечал этого и своим хапаньем все больше и больше вызывал огонь на себя. Чужие телята, выйдя из согры, наваливались грудью на плетень гвоздыринского огорода и старались дотянуться до капусты. Могучий плетень этот будил даже куриное воображение. Наш петух Гоша, как только мать выпускала его из курятника, немедленно скликал свое семейство и вел его напрямик в огород Гвоздыриных, минуя тощие грядки Максима Аксеновича Крикалина. Он шел, настырно вытянув худую шею; в круглом глазу его

горела решимость ликвидировать кулачество как класс. Навстречу Гоше выступал сытый голенастый петух Гвоздырина – какой-то невиданной породы, с толстым бородавчатым гребнем. Начиналась ежедневная битва.

Грызлись наши собаки.

Бодались коровы.

Враждовали между собой наши квартиранты.

Гвоздырин подбирал себе жильцов бессловесных, затюканных – таких, словом, которые могли бы пахать на него.

Нам же доставался всё больше народ независимый и горластый. Гвоздыринских батраков наши постояльцы не уважали, при любом случае старались их подковырнуть и унижить.

Особенно отличался этим живший у нас одно время корявый гармонист Иван.

Иван выносил из дому табуретку, разворачивал на коленях гармонь и пел припевки, слова в которых специально переставлены были так, чтобы уколоть гвоздыринских квартирантов, а заодно и хозяина их – мироеда.

Противник недолго выдерживал беглый огонь частушек. Скоро во дворе появлялась жена Гвоздырина теть Наташа и вступала в перепалку с Иваном – тоже иносказательно. У Гвоздыриных был рябой бычок, вечно пропадавший в согре. Теть Наташа начинала вроде бы кликать бычка.

– Рябый, рябый, рябый! – звала она и, выдержав небольшую паузу, злобно взвизгивала: – Чёрт коря-я-я-вый!..

Тогда корявый Иван оставлял гармошку и произносил длинную обличительную речь. Он, во-первых, объяснял тете Наташе, какая она стерва; во-вторых, растолковывал, почему она такая гладкая; и, в-третьих, сообщал, чего именно и сколько раз в сутки ей требуется, чтобы маленько растрясти жир.

– Ликсей! – голосила теть Наташа. – Не слышишь, как твою жену суконяют?

Алексей Гвоздырин выбегал из дома, на ходу подсучивая рукав.

Только этого момента и ждал корявый Иван. Он снова брал в руки гармошку и, негромко наигрывая, говорил приближавшемуся Гвоздырину:

– Ну, бежи, бежи!.. Бежи шибче, кулацкая морда. Щас я из тебя мартышку сделаю!..

Обычно Гвоздырин, покружив у нашей калитки, отступал. Он был храбрым только с пацанами, когда они бежали от него врассыпную. Маленький же Иван ждал его спокойно и насмешливо – и Гвоздь трусил.

У нас, мальчишек, Гвоздырин был объявлен вне закона. В любом праве мы отказывали ему, даже в праве защищать обиженных. И когда, например, Гвоздырин избил Кольку Хвостова за воровство у тети Поли, мы все равно отомстили ему: однажды ночью до последнего зелепутка выпластали огурцы.

Операция эта стоит того, чтобы поделиться ее опытом с грядущими мстителями.

Нам могли помешать здоровенные кобели Гвоздырина Полкан и Бровка. Это были нахальные большеротые твари, не дававшие проходу ни конному ни пешему. Но мы знали их слабость и воспользовались ею. За несколько минут до начала операции Витька Кулипанов забрался на единственный тополек, росший на горке за домом Гвоздырина. За пазухой у Витьки сидел кот Донат. Умопившись на дереве, Витька достал кота и защемил ему кончик хвоста бельевой прищепкой с усиленной пружиной. Добыв таким образом из кота звук, Витька стал ждать Полкана и Бровку. И они не замедлили примчаться.

Вгорячах псы с ходу попытались заскочить на дерево, но только побили себе морды. Тогда они сели на хвосты и решили караулить момент, когда Донат попытается спрыгнуть на землю. Кот орал дурным голосом, однако, удерживаемый Витькой, на землю спуститься не мог. Полкан и Бровка, вывалив языки, подергивая от нетерпения лопатками, ждали.

Тем временем основные силы, просочившись в огород со стороны согры, чистили знаменитые огуречные грядки Гвоздырина. Мы хватали огурцы горстями, выдергивали их вместе с плетями, а потом, для верности, проходили обработанные участки еще методом катка. То есть Колька Хвостов, как самый тяжелый, катился по грядке боком, временами замирая на месте и шепча:

– Во!.. Тута... под животом... Здо-оровый гад!

...Возможно, мы не проиграли бы ни одного сражения, завоевали всю Аульскую и провозгласили бы свою Республику – оплот Добра, Искренности и Справедливости... Если бы армию нашу не раздирали междоусобицы.

Неправота ходила по улице рядом с Правотой и, показывая ей тяжелый грязный кулак, заставляла себя признавать правой.

Силой, капризно дарующей нам достоинства и отнимающей их обратно, были семейные кланы.

У нас самым обеспеченным в этом смысле числился мой ровесник – сопливый Ванька Ямщиков. За Ванькой стояли три старших брата. Это были уже взрослые парни, длинноголовые, как на подбор, яростные и дурковатые – угадавшие характером не в тихого и болезненного отца, а в мать – тетку Ямщичиху, прозванную на улице Жеребцом.

Ванька, торгуя благосклонностью братьев, легко покупал себе первенство среди ребят. У него, правда, хватало ума не рваться в главнокомандующие. Главнокомандующий должен был обладать стратегическим талантом, и Ванька, наверное, догадывался, что на этой должности не потянет. Зато он нахально требовал, чтобы его считали отважным рубакой и неуловимым разведчиком. На самом деле Ванька был едва ли не главный паникер. И очень даже уловимый. По крайней мере, его единственного дважды брал в плен Алексей Гвоздырин, после чего Ванька заявлялся в распоряжение части с полуоторванными ушами.

Я не хотел признавать Ваньку героем, и он вызывал меня на поединки. Так, наверное, средневековые рыцари вызывали на ристалище тех, кто не соглашался признать их даму самой прекрасной на свете. Только Ванька сам себе был прекрасной дамой.

Мы дрались. Один на один – по всем правилам уличного кодекса чести. Но драки эти были все равно несправедливыми. Ванька выходил на меня беспроигрышно. Он, как Грушницкий на дуэли с Печориным, знал заранее, что в пистолет мой вложен холостой заряд. Я не мог поставить ему синяк под глаз или расквасить нос. За любое такое членовредительство меня на другой же день отлупили бы его братья. Ваньку можно было только повалить на землю и держать до тех пор, пока он не запросит пощады. Но и это еще не считалось победой. Ванька сохранял за собой еще одно право – на коварство. Он с готовностью просил пощады, вставал на ноги и, звонко поддернув сопли, требовал:

– Давай сначала.

Я оглядывался на судей.

Судьи молчали, трусливо опустив глаза на побитые цыпками ноги.

Тоскливые это были драки. Не драки, а сказка про белого бычка. «На колу мочало – начинай сначала». Получалось, что Ванька непобедим, как Кощей Бессмертный.

Конечно, будь у меня тоже старший брат, Ванька бы так не зарывался. С другими он все же побаивался шибко нахальничать. У других было кое-что припасено против ямщиковской орды. Например, крепенькие, как грибочки, братья-близнецы Петя и Митя Брухи даже драться один на один выходили вдвоем. С этим никто не спорил: Брухи считались у нас за одного человека и откликались на общее имя – Петямитя. Наконец, если Петюмитю колотили, на защиту их вставал сам Брухо-старший, связываться с которым – все знали – было пустым: только отшибешь кулаки.

Васька Багин распускал про себя слух, что он блатяк и запросто может «пописать» обидчика – то есть полоснуть ему по носу бритвочкой. Ваське верили. Может быть, потому, что

собственный его нос был разрезан в какой-то давней схватке. В опасные моменты Васька, засунув руки в карман и дерзко выставив свой «руль», украшенный бугристым белым шрамом, блатной скороговоркой спрашивал:

– Хочешь, падло, тебе такой же сделаю?

Поодиночке перед ним отступали даже старшие братья Ваньки Ямщикова.

Я не носил в кармане бритвочку. Отец мой был на фронте.

А мать вела свою войну – куда тяжелее и серьезнее моей.

У матери была особая платформа: она сражалась за советскую власть без бюрократов. Про советскую власть она не могла слышать худого слова. Если какая-нибудь соседка неосторожно вспоминала при ней, как хорошо да сытно жилось раньше, у матери леденели глаза, она вся напрягалась и резко говорила:

– Ты, видать, кулачка была, что ранешнюю-то жизнь хвалишь?!

– Что ты, что ты, Васильевна! – испуганно отмахивалась соседка. – Какая там кулачка!

– Кулачка, а кто ж ты больше! – наступала мать. – Небось, лавочку свою держала, а другие на тебя чертомелили... Нет, как я девяти лет пошла по людям работать, жилы тянуть, – так я ее не похвалю. Видала я эти жирные-то куски... в чужом рте. А ты, поди, сама их трескала в три горла – вот тебе советская власть в носу и щекочет!

Кончалось тем, что соседка бежала от матери, как от чумы, на ходу крестясь и отплевываясь.

Бюрократов мать готова была придушить собственными руками, а факт их существования считала чьим-то большим недосмотром. То есть определенно чьим.

Не раз я слышал, как она ругалась:

– Когда же только им, паразитам, хвосты поприщемляют?!

Однако указ о прищемлении хвостов бюрократам задерживался, и мать вынуждена была действовать в одиночку – своими, партизанскими методами.

Однажды она пришла на конный двор и, как солдатка, попросила у заведующего лошадей – привезти сена корове.

– Вас тут до такого хрена ходит – и всем дай! – раздраженно ответил заведующий.

Мать схватила со стола чернильный прибор и шарахнула им в заведующего. Но промахнулась. Тогда она сгребла табуретку и гоняла заведующего по конторе до тех пор, пока ее не утихомирили подоспевшие на шум коновозчики.

Мать ничего и никого не боялась: ни бога, ни черта, ни лихого человека, ни начальства, ни тюрьмы, ни сумы. К своим тридцати пяти годам она прошла через все испытания: были в ее жизни тифозные бараки и солдатские теплушки, тонула она и горела, отбивалась от волков, раскулачивала и ее раскулачивали дураки-перегибщики. И побираться мать ходила с грудными детьми, и басмачи ее конями топтали, и бандиты – знаменитая «Черная кошка» – приставляли нож к горлу.

Так что страх в ее душе выгорел весь, до доньшка.

Но в мои мальчишеские конфликты мать не вмешивалась. Наоборот, я и вякнуть при ней не смел, что обижен кем-то.

Изредка мне на помощь приходила старшая сестра Тонька. Правда, меня это вовсе не радовало. Тонька действовала по-девчоночьи, не соблюдая правил. Захватив нас за выяснением отношений, она яростно кидалась в атаку, не различая, где враги мои, где болельщики, а где судьи. Случалось, вместе со всеми удирал от нее и я – из солидарности.

Ребята старались близко Тоньку не подпускать. Они швыряли в нее комками и дразнились, приплясывая:

Антонида – бела гнида,

Сера вошь – куда ползешь?

Тонька не кланялась «пулям». Она только проворачивалась на пятках – тонкая, как веретено, – и комки свистели рядом, не задевая ее. Не дай бог было оказаться в цепких Тонькиных руках. Она не столько била, сколько конфузила: хватала за волосы и возила мордой по земле.

Увы, Тонькино заступничество лишь покрывало меня позором и множило число моих врагов.

Но зато как интересно жилось без охранных кулаков старших братьев! Улица была не только местом игр и прогулок. Всякий раз, выходя за калитку, я ступал на тропу войны. За каждым поворотом и плетнем караулила меня опасность. Слева, в узком проулке, мог неожиданно возникнуть угрюмый Гвоздь, с ременным кнутом за голенищем. Справа, в мелкой ложбинке, меня могли перевстретить длинноголовые братья Ваньки Ямщикова. Эту ложбинку я всегда пролетал стремглав. Дальше, на взгорке, жил Васька Багин, и никогда не было известно, чью руку держит он сегодня.

Выходы с Аульской стерег грозный кузнецкий хулиган Мишка-Буржуй со своей шайкой. Замирало сердце от ежеминутного предчувствия схватки.

Горели от страха пятки.

Напрягались мускулы под дырявой рубашкой.

Стригли коварную тишину уши.

Не было мира, и не было покоя. Был восторг непрекращающегося сражения.

Школа

Первые впечатления

У меня сохранилась старая фотография – наш выпуск четвертого класса. На этой фотографии я, может быть, не самый красивый, но самый умный – без сомнения. Такой я из себя лобастый, взгляд у меня строгий, губы поджаты, левая бровь слегка приподнята. Мне даже кажется, что я немного похож на великого математика Лобачевского.

Только я почему-то лысый. В смысле – остриженный под машинку.

Вон в среднем ряду, пониже меня, Витька Протореев. У него коротенький, косо подрезанный чубчик. И у Сережи Белоусова чубчик, и у Лени Фейерштейна. А я лысый. Я и еще несколько ребят: Генка Колосов, Толька Максимов, Эдька Яким, Исая, Катъш...

В чем дело? За что мы так оболванены и почему они с чубчиками?

Долго сидел я над фотографией: вспоминал, размышлял...

Ну, Исая у нас стригли за вшивость – это всем было известно. Эдька Яким, помню, один раз, уже в техникуме, побрил голову на спор. Но меня-то мать содержала чисто, и сам я волосами никогда не тяготился.

Но об этом после. Сначала надо рассказать о том, как я впервые познакомился со школой.

Между прочим, никуда я так страстно не хотел попасть, как в школу. Я прямо сгорал от нетерпения, считал оставшиеся до нее месяцы, надоедал всем вопросами о школе. До сих пор не могу понять причину этой страсти. Ведь вроде бы нечем ей было питаться: никто не вел со мной разговоров об учебе, не было у меня перед глазами и завлекательных примеров. Скорее, наоборот. Старшая сестра в то время начинала уже поговаривать, что пора бы ей заканчивать свое образование. Каждый день, возвратясь с уроков, она швыряла в угол портфель и, разразившись злыми слезами, грозилась никогда больше в школу не возвращаться: математик ненавидит её – нарочно ставит двойки, химия высушила ей все мозги, географичка – дура, наконец, все подружки давно уже работают, и только одна она сидит за партой как последняя идиотка.

Еще раньше я не раз слышал от отца про его титаническую борьбу с учебой. Отец по дороге в школу прятался за какой-нибудь плетень, зубами отдирав от валенок подметки, только что поставленные моим дедушкой, закидывал их подальше в чужой огород и возвращался домой, мужественно ступая по снегу голыми пятками, Дедушка, поколотив отца его же валенками, ставил новые подметки. Отец на другой день отрывал и эти. И так продолжалось, пока отчаявшийся дедушка не заводил отцу совсем новые валенки, от которых уже ничего нельзя было отдрать.

Все это, однако, меня не насторожило. Я продолжал мечтать о школе, упрямо веря: уж мои-то отношения с ней сложатся нежно и безоблачно.

Судьба, впрочем, была ко мне благосклонна и подарила лишний год свободы, что я в то время, конечно же, не оценил. Когда наступила пора идти в школу, оказалось, что мне не в чем туда отправиться: незадолго до этого мы «съели» мои единственные ботинки, обменяв их на четыре ведра картошки. Два дня я безутешно рыдал. На третий, убедившись, что «Москва слезам не верит» и новые ботинки все равно не придет, сцепил зубы и решил не даваться судьбе. И не дался.

Месяца за два я выучился читать. Тайком. Скрывать свое умение мне требовалось для того, чтобы сестра не прятала от меня книги, которые время от времени давали ей подружки. За длинную зиму я прочел их все. Так что пока мои сверстники, прибавив к двум спичкам еще три, ломали голову над тем, сколько же получилось в результате, я скакал по прериям, проигрывал в карты миллионные состояния, влюблялся в герцогинь и соблазнял служанок. То были

случайные книги военного времени – растрепанные, пожелтевшие, чаще всего без конца и без начала. Потом уже я установил названия некоторых из них по содержанию, навечно врезавшемуся в память. Оказалось, что читал я рассказы Мопассана, «Атлантиду» Бенуа, «Гулящую» Панаса Мирного и другие не менее полезные произведения.

В школу я пришел через год.

Из-за скромного роста я не выглядел старше своих одноклассников, но желание немедленно выказать свою образованность распирало меня, я нетерпеливо ерзал на парте и добился, что учитель на меня первого обратил внимание.

– Ты! – сказал учитель. – Вот ты, черненький. Побереги штаны... Не думаю, чтобы гардероб твой был слишком богат.

Я перестал ерзать, но торжествующе оглянулся. Как же! Ведь мы с учителем говорили на одном языке: я знал, что такое гардероб. Это совсем не раздевалка и не шкаф, в который вешают пиджаки.

Прежде всего учитель сделал переключку. К нашему удивлению, он уже всех знал по имени и фамилии и теперь интересовался родителями. Выкликаемый должен был подняться и для чего-то сообщить, где и кем работает его отец. Тут обнаружилось, что отцы у многих не какие-нибудь там простые люди, а разные начальники. Я и не подозревал до этого, что на свете столько начальников.

– Начальник цеха, – говорили выкликаемые. – Директор магазина... Начальник мастерской... Начальник ОРСа... Главный инженер...

У нас, на Аульской, самым главным начальником считался бригадир Балалайкин, да и тот был пьяница.

Когда подошла моя очередь называть отца, я, сам не знаю почему, выпалил:

– Генерал!

– Хм! – сказал учитель и с интересом уставился на меня через очки. Видать, моя стриженная уголовная башка не внушала ему доверия. – А кем, интересуюсь, твой папа работал до фронта? – спросил он.

– Коновозчиком, – ответил я.

– Так, – сказал учитель, непонятно чему радуясь. – Запишем: рядовой боец. Не обидно будет?..

Потом учитель велел поднять руки тем, кто знает какие-нибудь буквы.

Я понял, что наступает час моего триумфа, торопливо поднял две руки и застучал задом о скамейку.

– Ну вот, – тоскливо сказал учитель. – Уже и хулигана бог послал.

Он приказал мне опустить руки и не поднимать их впредь до особого разрешения. А к доске вызвал белобрысого ушастого мальчика с челкой, и тот, высунув язык, долго рисовал ему раскоряченную букву «М». По странному совпадению мальчиком этим оказался Сережа Фельцман, единственный в классе дебил, который потом за целый год так ничего и не смог прибавить к этим своим познаниям...

Прозвенел звонок – и мы высыпали в коридор.

В коридоре большие ребята, четвероклассники, выполняли трудовую повинность – заклеивали на зиму окна. Они бросили работу, окружили нас и стали рассматривать, отпуская разные насмешливые замечания. Один из четвероклассников почему-то заинтересовался мною.

– Ты цыган? – спросил он.

– Не, – мотнул головой я.

– Врешь, цыганская морда! – сказал четвероклассник и, заложив средний палец правой руки между большим и указательным, присадил мне оглушительный деревянный щелчок.

Из глаз моих сами собой брызнули слезы. Тогда другой четвероклассник, ужасно больше ротый и носатый, сказал:

– Не плачь, оголец, я тебе фокус покажу. Гляди.

Он раскрыл свою необъятную пасть, занес в нее, как в пещеру, кисть руки, густо вымазанную клейстером, и вынул обратно, не царапнув ни об один из редких зубов. Все потрясенно загудели.

– Я еще и не такое умею, – похвалился носатый. – У тебя хлеб есть?

– Есть, – кивнул я.

– Ну, волокни сюда.

Я пулей слетал в класс и вынес ломтик черного хлеба, политого постным маслом. Носатый подбросил ломоть вверх, хамкнул на лету, как собака, глаза его на мгновение округлились и по горлу пробежала судорога, значение которой я не сразу понял. Я ждал, что он извлечет обратно мой ломтик, – целый, как до этого руку.

– Ну! – заторопил я его. – Открывай рот!

– Бе-е! – сказал носатый, раззявив пустую пасть, и толкнул меня в грудь. Толкнул он меня вроде слегка, но, оказывается, за моей спиной уже стоял на четвереньках один его сообщник – так что я будь здоров как полетел... прямо под ноги выходящему из класса учителю.

– А, это ты, хулиган! – забормотал учитель, одной рукой ловя заскользившие с носа очки, а другой целясь схватить меня за шиворот. – Ну-ка, марш к директору!..

Столь жесткая встреча поубавила мой восторг перед школой, и я решил на время воздержаться от посещения её – хотя бы до тех пор, пока примерные мальчишки подучат алфавит. А там видно будет. Две возможности не пойти на уроки открывал мне опыт собственный и отцовский.

Можно было расковырять гвоздиком новенькие желтые ботинки из пупырчатой свиной кожи.

Или симулировать болезнь живота.

На ботинки, после целого года босячества, у меня не поднялась рука. Я остановился на втором, не раз проверенном способе.

У матери против этой болезни имелось одно, тоже проверенное, средство: стакан крепкого чая с подгорелым сухариком. К нему она и прибегала.

Промаявшись до обеда от безделья и голода, я сказал матери, что живот у меня вполне прошел, и, чувствуя смутные угрызения совести, даже изъявил желание заняться каким-нибудь полезным делом, например, сходить к железнодорожному переезду поторговать семечками. Приятно удивленная мать тут же насыпала мне в старую наволочку с полведра жареных подсолнечных семечек.

– Гляди-ка ты, что школа-то с вами делает, с чертями безмозглыми! – одобрительно сказала она. – Может, хоть матери научитесь помогать.

У меня же на этот счет были свои соображения. Я думал: вот продам семечки, принесу домой деньги, мать еще больше обрадуется – и тогда завтра можно будет попытаться убедить ее, что, пока все подсолнухи не распроданы (а мы наколотили их несколько мешков), в школу мне ходить не стоит.

Возле железнодорожного переезда был не базар, а так себе – базарчик на несколько точек. Одна бабушка продавала самосад, крутились иногда пацаны из шайки Мишки-Буржуя с папиросами «Пушки» или старый бабай сидел на корточках возле мешочка с урюком. Семечками здесь монополично торговал сухорукий инвалид по прозвищу Хайлай. Хайлай стоял у переезда каждый день, в любую погоду, высокий, прямой как палка, с опущенной вдоль туловища левой рукой, а прозвище свое получил за то, что через равные промежутки, как заведенный, открывал рот, набитый железными зубами, и хайлал:

– А вот жар-р-р-рен-н-н-ные, кален-н-ные, с Ашхабада привезен-н-ные!

Я устроился с наволочкой возле Хайлая и, подражая ему, завопил про жареные и каленые. Инвалид покосился на меня, но смолчал пока.

Мое преимущество обнаружилось очень скоро. Я захватил из дому в качестве мерки большой граненый стакан. У Хайлая стаканчик был маленький, алюминиевый, с толстым бронбойным дном – сделанный, наверное, по заказу. В него входила маленькая горстка семечек, тогда как от моей порции у покупателей заметно толстели карманы.

Хайлай выждал момент затишья в торговле, освободил свою посудину и стал медленно пересыпать в нее семечки из моего стакана. Рюмочка его уже наполнилась с верхом, а семечки все еще текли обратно в наволочку. Хайлай задумчиво посидел возле меня на корточках, пожевал губами, потом придвинул свой мешок и сказал:

– Сыпь сюда.

Мы намерили тридцать стаканов – и он рассчитался со мной за все.

– Отобрали? – ахнула мать, когда я ворвался домой, размахивая пустой наволочкой.

Я выгреб из-за пазухи скомканные рубли.

– Ай да молодец! – всплеснула руками мать. – Уже отторговался? Вот это ловко!.. Дак ты, может, еще маленько отнесешь? Сейчас тэцовские девчата со смены пойдут – как раз подгадешь.

– У тебя поменьше-то нет стакана? – солидно буркнул я, закидывая за плечо наволочку. – Даешь чёрт-те какой здоровый.

– Да ладно, сходи с этим, – отмахнулась мать. – Или мы спекулянты – стопками продавать?

Такого коварства Хайлай от меня явно не ждал. У него даже брови полезли на лоб, потянув за собой нос и верхнюю губу, – отчего железные зубы оскалились, будто в смехе. Но ему было не до смеха. Пошли со смены бойкие тэцовские девчата и начали издеваться над Хайлаем:

– Ты, дядька, где такой наперсток взял? У жены стибрил?

– Да это не наперсток, это коронка его с коренного зуба!

А одна рыжая девчонка, с круглыми отважными глазами, подступила к нему не на шутку:

– Ну-ка, змей сухорукий, сбавляй цену, а то щас мотню оторвем!

– На-ко, выкуси, – остервенился замордованный Хайлай.

И тут он допустил большой промах: показал ей фигу не правой рукой, а левой – бездействующей.

– Девки! – возмущенно закричала рыжая. – Да он здоровый!

И всё. Через минуту мой конкурент был растоптан.

Рыжая схватила за углы его мешок, выхлестнула на землю «привезенные с Ашхабада» семечки и пошла по ним яростной чечеткой, подбоченясь и выкрикивая:

Эх, топну ногой
И притопну другой!..

Семечки застучали по бурым штанам разоренного Хайлая.

Так неожиданно я завоевал рынок.

Однако монополией своей я наслаждался от силы минут десять. Знать бы тогда про волчи законы частного предпринимательства – я бы, наверное, подхватил наволочку и удрал куда подальше. Но я продолжал лихо сыпать семечки в подставляемые карманы, пока не почувствовал, как кто-то крепко берет меня за ухо. Я скосил глаза вверх и увидел над собой пожилого, усатого милиционера. Рядом с ним возвышался запыхавшийся красномордый Хайлай.

– Ну, пойдём, жареный, – мирно сказал милиционер.

Родители в детстве никогда не запугивали меня милиционером. О том, что в милицию лучше не попадать, я узнал сам много позднее. Как-то, уже старшекласником, я попытался

запрыгнуть в трогаящийся трамвай и был на лету схвачен известным на весь город своей беспощадностью и вездесущностью автоинспектором Копытовым. Видать, у Копытова в этот день не было крупных происшествий, а деятельная натура его не терпела простоев.

– Та-ак, – сказал Копытов. – Скочим, значит?.. Ну, плати три рубля, скакунец.

Три рубля у меня были. Свернутые в шестнадцать раз, они хранились в маленьком кармашке брюк, прикрытом сверху ремнем. Но отдавать их Копытову показалось мне обидным, и я ответил, что денег нет.

– Тогда ходим до отделения, – решил он.

Я шел в отделение и усмехался. Что могли предъявить мне за такой пустяк? В трамвай, ползающий по-черепашьи, у нас запрыгивали на ходу вдоль всего маршрута, ездили на подножке, на «колбасе», на крыше – и преступлением это не считалось. Между тем именно в ерундовости моего поступка и таилась опасность. Копытов задержал меня вгорячах или, может, припугнуть хотел – и теперь, когда мы уже переступали порог милиции, он должен был откомендовать задержанного примерным злодеем. Иначе пошатнулся бы его авторитет.

В отделении Копытов, вытянувшись, доложил:

– Вот этот, товарищ начальник, прыгнул на ходу в трамвай и... спихнул на ходу старуху! С ребенком, – помолчав, прибавил он для верности.

Не хватил Копытов так беспардонно через край, дело могло бы обернуться для меня плохо. Но он перебрал – и я возмутился так бурно и так искренне, что начальник не успел меня остановить!

Ну и закатил же я им речь! Низкого человека Копытова, пошатнувшего святую веру в мою милицию, которая меня бережет, я уничтожил, разжаловал, произвел в прислужника магнатов капитала, в унтера Пришибеева! Меня трясло, глаза мои полыхали неподдельным гражданским гневом – я чувствовал, как они наполняются горячей влагой.

Ошарашенный начальник бледнел, медленно поднимался из-за стола, рот его самопроизвольно раскрывался. Кончилось тем, что он плюхнулся обратно в кресло, рванул ворот гимнастерки и задушенно прохрипел:

– Копытов!.. Гони его отсюда... к свиньям собачьим!

Думаю, что он принял меня за сумасшедшего.

Но это, повторяю, случилось много лет спустя.

А пока я первый раз в жизни шагнул в милицию.

Встречные женщины скорбно смотрели на меня, на волочившуюся по земле наволочку, в глазах их было написано: «Господи, господи! Что же это делается-то? Такие маленькие, а уже воруют! Светопреставление, и только!»

В отделении сидела за столом и что-то писала тоненькая черноглазая девчонка.

– Шить доложить, тырщ лейтенант! – обратился к ней усатый. – Вот жареного-каленого привел.

Девчонка бросила карандаш и спросила:

– Ну... чего натворил-то?

Я молчал.

Девчонка вздохнула.

– Отец есть?

– Есть... на фронте.

Девчонка снова вздохнула, на этот раз громко: «Охо-хо!»

– Охо-хо! – сказала она. – Я тебя, Бусыгин, сколько раз просила: не таскай ко мне эту шпану – веди их домой или в школу. Просила я тебя, Бусыгин?..

...На улице Бусыгин стал думать:

– Куда же тебя вести-то: домой или в школу?.. Да-козь подсолнушков... В школу, однако, ближе будет – как считаешь?

И мы пошли в сторону школы.

Медленно постигал я весь ужас своего положения: вчера учитель выставил меня хулиганом – сегодня утром я не явился в школу – вечером меня приведет к директору милиционер. Мама родная! Получалось, что мне от «хулигана» теперь сроду не отмыться.

– Дяденька! – захныкал я. – Не ведите меня в школу... Я больше никогда не буду... Честное слово...

Бусыгин остановился. Дощелкал семечки с корявой ладони.

– Обещаисси, значит? – сплюнул он шелуху. – Да-кось ещё подсолнушков-то... Ну, если твердо обещаисси, тогда ладно – не поведу. Тогда бежи домой...

Так бесславно закончилась моя попытка основать коммерческое предприятие.

На другой день я снова отправился в школу – и этот-то день по-настоящему надо считать первым моим школьным днем.

Очкастого учителя в классе я уже не застал. Не знаю, куда подевался этот человек, имени которого я даже не успел запомнить. Скорее всего, его взяли на фронт. Учитель, правда, был подслеповат, но в военное время это не играло большой роли. Когда забирали на фронт отца друга дядю Степу Куклина, врач спросил его:

– На что жалуетесь?

– На зрение! – не моргнув соколиным глазом, соврал дядя Степа.

– На зрение, – хмыкнул врач. И неожиданно вскинул два пальца: – Сколько?!

– Два, – сказал застигнутый врасплох дядя Степа.

– Годен, – объявил врач.

Вот так, может быть, и учителю нашему кто-то показал два пальца.

Во всяком случае, вместо него в класс вошла учительница – моя Первая Учительница. Та самая, классическая, добрая и внимательная, терпеливая, с седыми прядками и мягкими карими глазами. И даже с именем Марья Ивановна.

Я думаю, что первые учительницы – это совершенно особая категория людей, некая каста, союз или добровольное общество – как йоги, например, «моржи» или нумизматы. Это жрицы, давшие обет человеколюбия.

В огромной армии работников просвещения – это части специального назначения, перед которыми стоит задача навести переправы в детские души, захватить плацдарм, и не только удержать до подхода основных сил, но постараться взрастить на нем такую любовь к школе, чтобы подоспевшим затем танковым колоннам Формул, воздушному десанту Химических Реакций, полкам Сложноподчиненных Предложений и офицерским батальонам Образов, сформированным из «представителей мелкопоместного дворянства» и «продуктов эпохи», не удалось вытоптать её до самого выпускного бала.

Недаром же первых учительниц помнят и любят все: солдаты-первогодки и генералы, президенты Академии наук, доярки-рекордистки, народные артисты и полярники. А космонавты, возвратясь на родную Землю, даже разыскивают своих первых учительниц в маленьких провинциальных городках и фотографируются рядом с ними для газеты «Известия».

Что-то никому не приходит в голову сфотографироваться рядом с математичкой или военруком, хотя космонавтам, допустим, как людям преимущественно военным, мужественный облик военрука должен бы, казалось, врезаться в благодарную память с особой силой.

Именно к такому отряду благородных подвижников принадлежала и моя первая учительница. Ее метод воспитания был прост: учительница любила меня. Любила, страдала вместе со мной, как страдает писатель вместе с героями, созданными его воображением, радовалась моим скромным успехам больше, чем я сам. Когда я мучился над трудной задачей, Марья Ивановна морщила лоб, глаза ее делались напряженными, на переносице выступали бисеринки пота – так ей хотелось подсобить мне.

Она помогала мне глотать знания, как молодая мамаша помогает своему первенцу есть манную кашку с ложечки: сама того не замечая, плямкает вместе с ним губами и сглатывает слюну.

Возможно, она была даже гениальной – моя первая учительница. Никогда не забуду ее необыкновенные родительские собрания. Она не скликала наших мам вместе, а всегда вызывала по одной. Не знаю, о чем там она говорила с другими родителями, а встречи с моей матерью происходили так: Марья Ивановна усаживала ее напротив своего стола и принималась за тетрадки. Она словно забывала о нашем присутствии, и мы полчаса... час наблюдали за ее священнодействием. Всё отражалось на живом лице Марьи Ивановны. Мы видели, какой трудный мальчик Петя Иванов, как Марья Ивановна жалеет его, как искренне хочет добиться от него толку и как опасается, что толку из Пети может не получиться.

Затем мы узнавали, что Маша Петрова девочка старательная, умница, дела её идут на поправку, и если она ещё чуть-чуть подтянется, Марья Ивановна будет ею совсем довольна.

Наконец учительница раскрывала мою тетрадь. Сдвинув брови, деловито поджав губы, она рассматривала решенный мною четырехстрочный примерчик как нечто чрезвычайно серьезное, как работу взрослого самостоятельного человека, не нуждающегося в снисхождении.

Закончив проверку, Марья Ивановна вскидывала на меня все еще строгие глаза.

Я – хотя знал, что ничего страшного не должно случиться, – подтягивал от волнения живот.

Брови Марьи Ивановны медленно расходились, глаза теплели, она говорила:

– Ну, что же, Коля... как всегда – отлично.

Тетрадь Марья Ивановна вручала обязательно матери, в её дрожащие руки – и с тем, не прибавив больше ни слова, отпускала нас.

Нетрудно представить, как я ликовал, как парил над землей, не чувствуя под собой ног!

А мать, из которой и палкой невозможно было вышибить слезу, несколько раз за дорогу принималась всхлипывать. До самого дома она не отдавала мне тетрадь, несла её сама, прижимая к груди, словно великую ценность.

Вот какой была моя первая учительница.

И если бы я стал очень знаменитым, таким знаменитым, что мир захотел бы увидеть мой портрет, – я тоже разыскал бы Марью Ивановну и сфотографировался рядом с ней.

Чубчики и нулевки

В первый же день Марья Ивановна выстроила нас по росту и рассадила за партой в таком порядке, чтобы самые маленькие оказались впереди, а самые большие – сзади. Потом она осмотрела наши ручки, перья и велела назавтра всем принести одинаковые. Марья Ивановна сама раздобыла где-то штук восемь желтых бумажных мешков из-под глинозема, разрешила их на большие листы и сказала: пусть мамы выкроют вам одинаковые тетради – вот такие, как у меня. Она также наказала нам выстрогать по десять палочек для счета, и никто не получил поблажки: дескать, ты, Петя, принеси все десять, а тебе, Ваня, можно явиться только с тремя.

Словом, наконец-то мы сделались равными. После уличного произвола это просто был рай справедливости. Тем более, что учителей не волновало, сколько у кого из нас имеется старших братьев с железными кулаками.

Когда сосед мой Ванька Ямщиков вывел из терпения своим озорством даже добрейшую Марью Ивановну, в класс заявился рассерженный завуч, отнял у Ваньки сумку, нахлобучил ему на глаза шапку и вышиб за дверь хорошим подзатыльником.

Правда, в этот же день меня повстречал один из Ванькиных братьев – Колька.

– Кончились уроки? – спросил он, глядя вниз и ковыряя ботинком чудовищных размеров вмерзший в снег камешек.

– Ага.

– А сумка Ванькина где?

– В учительской, наверное, – простодушно ответил я.

– А ты почему ее не украл, сука?! – вскинул на меня желтые кошачьи глаза Колька.

Он сбил меня с ног и как следует напинал под бока своими могучими американскими ботинками.

Понятно, я не подозревал тогда о существовании закона единства и борьбы противоположностей.

Этот случай открыл мне глаза лишь на одну половину его: школа и улица находились в состоянии борьбы, на острие которой я случайно и оказался.

Но заблуждался не только я. Заблуждалась и Марья Ивановна. Она, видать, не догадывалась, насаждая равноправие, что подлая война уже разделила нас.

Скоро Марья Ивановна, я думаю, догадалась.

– Дети, – сказала она через несколько дней. – Кто знает какую-нибудь песенку?

– Я знаю! – подняла руку Нинка Фомина, черноглазая бесстрашная девчонка.

– Ну, спой нам, что ты знаешь.

Нинка вышла к доске, подбоченилась и запела:

Двенадцать часов пробило,
Чеснок идет домой,
А качински ребята
Кричат: «Чеснок, стой!..»
Два парня подскочили
И сбили его с ног,
Два острые кинжала
Вонзились в левый бок...

– Хватит, хватит! – замахала руками Марья Ивановна. – Это нехорошая песня, Нина... Может, ты другую знаешь?

Оказалось, что Нинка знает и другую.

– Тогда спой другую, – сказала Марья Ивановна.

Перебиты, поломаны крылья! —

взвывла Нинка, томно заводя глаза.

Марья Ивановна решила, наверное, что эта песня про наших героических летчиков-истребителей, и одобрительно кивнула головой.

Пока она кивала, Нинка проскочила вторую строчку и ударила с надрывом:

А-э кокаином – серебряной пылью —
А-э все дороги мне в жизнь замело!..

А вскоре удивительная история произошла с мальчиком Петей Свиным, или попросту – Свином, как его сразу же прозвали в классе.

Хотя многие из нас были переростками военного времени, Свин казался нам слишком взрослым. Он только ростом не вышел, был из тех «собачек», которые до старости остаются «щенками».

С неделю Свин мирно сидел в классе, поглядывая вокруг цепкими мужичьими глазками. Он, казалось, чего-то ждал. Может быть, решительных перемен в судьбе. И не дождался.

Тогда Свин поднялся прямо среди урока и вышел.

Дома, на пустом осеннем огороде, он построил шалаш из подсолнечных будыльев и картофельной ботвы, вернулся на другой день в школу, схватил за руку одну из девчонок – тоже переростка, толстуху, на голову выше себя ростом – и повел в свою хижину, чтобы зажить там самостоятельной трудовой жизнью.

Они уходили на глазах онемевшего от изумления класса – очень солидно и семейно. Впереди, ссутулившись, заложив руки за спину, шагал Свин. За ним, покорно опустив голову, брела его избранница.

– Свин повел Тайку жениться! – запоздало разнеслось по школе – и вспыхнула паника.

Срочно был отменен последний урок в старших классах. Отряд добровольцев численностью в двадцать пять штыков обложил огород мятежного Свина. Предводительствовал старшекласниками единственный в школе мужчина, завуч Леопольд Кондратьевич.

Старшекласники, не дыша, лежали за плетнями (имелись сведения, что Свин вооружен: накануне у него видели поджигу и четыре стреляных гильзы от противотанкового ружья). Леопольд Кондратьевич, перенеся длинную ногу через плетень, вел переговоры.

– Петя и Тая, выходите – вам ничего не будет! – лицемерно обещал завуч.

Возле дома, заслонясь рукой от низкого предзакатного солнышка, страдала мать Свина. Безногий калека-отец наблюдал за ходом операции с крыльца. Он сидел, подавшись корпусом вперед, забыв о сигарке, прилипшей к нижней губе, и время от времени возбужденно повторял:

– Эт-тот может!..

После получасовой осады Свин «выбросил белый флаг».

Набежавшие старшекласники скрутили ему руки за спину и, взяв в каре, повели к родительскому крыльцу.

Отец, только что восхищавшийся Свином, деловито упрыгал в сени за солдатским ремнем.

Ремень ему, впрочем, употребить не пришлось. Преступление Свина было слишком велико, чтобы разрешить дело показательной поркой. Тут же, у крыльца, скорый полевой суд приговорил его к отлучению от школы.

Глупую Тайку с позором пригнали в учительскую, где она была подвергнута строжайшему допросу. Члены педсовета хотели знать: успели они со Свином пожениться или не успели?

Тайка плакала и все отрицала.

Отступились от нее после того, как сообразили: Тайка под словом «жениться» понимает такое положение, когда отец ходит на работу, а мать готовит ему обед.

Сготовить же обед Свину Тайка не успела.

В общем, равноправие мало-помалу начало давать трещины. Мы заметили это, когда некоторые мальчики вдруг поотращивали себе чубчики. Тогда же начал ломаться первоначальный порядок размещения в классе.

Чистенькие мальчики с челочками, хорошо, не по военному времени, одетые, стали потихоньку теснить с передних парт своих мелкорослых, но стриженных наголо одноклассников – теснить ближе к середине класса и даже к позорной «камчатке». Они сами охотно занимали первые ряды, да и учителям, казалось, приятнее было видеть рядом их чубчики и прорборы, чем наши голые лбы.

– Сережа Фельцман! – говорила, к примеру, учительница, когда ей требовалось публично поконфузить какого-нибудь неряху. – Встань-ка, Сережа.

Сережа поднимался с передней парты, являя классу белобрысый затылок и розовые уши.

– Вот, дети, посмотрите на Сережу, – призывала нас учительница. – Какой опрятный мальчик! И рубашка на нем всегда выглаженная, и ногти подстрижены, и пуговицы пришиты. Надо всем брать пример с Сережи... А теперь, дети, посмотрите на Гену. Гена, встань... Ну что за вид у тебя! – страдала учительница. – Пугало огородное – и только!

Конечно, Сережу не следовало бы возводить в эталон. Кроме того, что одет он всегда был аккуратно, никаких других достоинств за ним не числилось. Но что попишешь: в то несытое время – когда каждую мелочь сверх скудных военных норм, начиная с окопных шпингалетов и кончая бумажными мешками из-под глинозёма, которые шли на тетради, раздобыть можно было лишь с помощью чьих-то руководящих папаш, – учителя наши не всегда были вольны в своем выборе. Иногда им только приходилось делать вид, что они пленили очередного неслуха, а на самом деле пленниками оказывались они.

Как-то я принес в школу маленький перочинный ножичек с надломленным лезвием, выменяв его у Васьки Багина на дальнобойную рогатку из противогоазной резины и четыре рыболовных крючка. Конечно, мне захотелось опробовать ножичек, и я за две переменки вырезал на тыльной стороне крышки парты свое имя. Оставалось добавить первую букву фамилии – и труд мой на этом был бы завершён. Но тут меня выдала сидевшая сзади девчонка.

– А ну-ка, иди сюда! – позвала учительница.

В то время учила нас уже не Марья Ивановна, а Варвара Петровна, въедливая подозрительная женщина, с белыми тонкими губами и лицом, изрытым оспой. Эта Варвара Петровна за половину четверти сумела разложить класс: она заставляла нас шпионить друг за другом и гласно, торжественно, перед лицом притихших товарищей объявляла благодарности доносчикам.

Пока я стоял у доски под ее колючим взглядом, двое добровольцев из актива Варвары Петровны обшаривали мою парту и сумку. Ножика они не нашли – я успел спрягать его под поясок штанов.

Тогда учительница велела мне вывернуть карманы, – каковых оказалось один, – сама выдернула из брюк и потрясла за подол мою рубашку (ножичек при этом чудом удержался за пояском). Я шевелил животом – быстро втягивал его, напрягал и снова втягивал – моля бога, чтобы проклятый ножик провалился в штанину, а оттуда – в валенок. То ли Варвара Петровна заметила мои манипуляции, то ли просто опыт у нее был настолько богатый, но она сказала:

– Разувайся.

Я сел на пол, стащил валенки и, стгорая от стыда, начал разматывать свои рваные портянки, выкроенные из старого материнского платья в белый горошек...

Между тем оружие – и более грозное – не так уж редко появлялось в школе, и за ношение его преследовали не каждого.

Помню случай, когда Колька Ямщиков необдуманно бросил вызов школе. Он явился однажды к концу занятий, чтобы проучить нескольких четвероклассников, обидевших чем-то его нахального Ванечку.

Кольку погнали.

Гнали его по огромному пустырю, простирившемуся перед школой. Длинный, почти двухметровый Колька уходил редкими сажеными скачками, а за ним катилась толпа кроважодно орущих пацанов. Впереди всех молча бежал Пашка Савельев, размахивая большим облупленным револьвером, добытым на свалке.

Перепуганные учителя следили за погоней с крыльца школы. Бледная директор держалась за сердце и скороговоркой повторяла:

– Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой!..

Отнять револьвер у Савельева никто из них не осмелился.

Пашкин отец управлял могущественным трестом «Кузнецкстрой», которым все здесь было возведено: и бараки вокруг школы, и сама школа, и угольный склад, и магазин, и четырехквартирные домики, в одном из которых жила, кстати, директор.

Каким начальником был отец Вити Протореева, никто не знал. Но, видать, очень важным. Может быть, поважнее, чем отец Пашки Савельева. Мне намекнул на это один случай.

Витька Протореев как-то натравил на меня собаку. Собака у него была особенная, не похожая на наших драных, всклоченных дворняг, и взаимоотношения у них с Витькой тоже были особенные, невиданные у нас. Мы своих псов не баловали: держали их на цепи, спуская только на ночь – сторожить и промышлять по тощим помойкам. Витькина собака жила в комнате, в одном из четырехквартирных домиков, где Протореевы занимали весь первый этаж, соединив вместе две квартиры.

Спала она на собственном матрасе, трескала остатки мясного борща и ливерную колбасу. Несколько раз в день Протореев выводил её гулять, держа за тонкую серебристую цепочку.

В одну из таких прогулок мне случилось бежать мимо дома Протореевых. Витька, смея ради, стал назюкивать на меня собаку.

– Зю! – хохотал он. – Зю! – А сам старался в последний момент натянуть цепочку, чтобы собака меня всё-таки не достала.

– Проторей! – сказал я. – А по морде не хочешь?

Угроза на Витьку не подействовала. В данный момент между его мордой и моими кулаками находился здоровенный пятнистый кобель. Пришлось мне отступить. Я пятился и пятился к штакетнику, пока не уперся лопатками в острые пики его. Тут цепочка не выдержала, лопнула – собака куснула меня за ногу выше колена и, поскольку сама не питала ко мне злых чувств, сразу же отскочила в сторону и завиляла хвостом. Ногу она мне всё же в горячах успела прохватить и, что самое обидное, единственные штаны разодрала.

В то время мы уже состояли в пионерах, и я, поразмыслив, решил поступить сознательно: морду Витьке не бить, а отправиться с жалобой на него по начальству.

На другой день я подмаршировал к старшей пионервожатой, салютнул и по всей форме доложил о случившемся.

Глаза пионервожатой вдруг одеревенели – стали плоскими и белыми, как выструганная доска. Не сказав в ответ ни слова, она обогнула меня и пошла прочь – с прямой спиной и напряженным затылком, словно несла на голове кувшин, который боялась расплескать.

Получилось, короче, что некоторые мальчики с чубчиками в школе так же неприкосновенны, как Ванька Ямщиков на улице. С разницей лишь, что у Ваньки были старшие братья, которых боялись мы и совсем не боялись взрослые, а у «чубчиков» имелись отцы – ничуть не опасные для нас, но зато повергавшие в трепет взрослых. Нам причина этого страха в то время была не очень понятна: ведь мы совершенно точно знали, что, допустим, папа Вити Протореева не станет подкарауливать за углом нашего завуча, чтобы начистить ему сопатку или дать хорошего пинкаря. Наоборот, родители всегда держали сторону учителей – многие убеждались в этом на собственном опыте. У нас в классе, например, Митька Катышев, обиженный как-то Варварой Петровной, дерзко пригрозил ей:

– Погодите, вот скажу отцу!

– Скажи, скажи, – поддержала его намерения Варвара Петровна. – Обязательно скажи.

Катыш, не уловивший в тоне учительницы насмешки, действительно пожаловался на неё отцу. Отец снял ремень и, не вдаваясь в суть разногласий Катыша с Варварой Петровной, выполнил челобитчика.

Однажды и я чуть было не попал в число избранных. Началось это так. Варвара Петровна вошла в класс и первым делом сказала:

– Коля Самохин, тебя вызывают к директору.

К директору у нас вызывали в крайних случаях и только самых отпетых хулиганов. Ходили туда обычно «с вещами». На портфель провинившегося в учительской накладывался арест, а его самого выпроваживали налегке за родителями.

Я не знал за собой большой вины, но, на всякий случай, потянул из парты сумку.

Варвара Петровна, однако, сказала, что сумку брать не надо. Она даже попыталась придать своему лицу ласковое выражение, а когда я, съездившись, выходил из класса, не то судорожно погладила, не то подтолкнула меня в затылок своей шершавой ладонью.

В кабинете директора царила торжественная обстановка. Слева от стола, преданно сияя очками, стоял завуч. Справа нетерпеливо подрагивала коленкой розовая взволнованная пионервожатая. Похоже было, что меня собрались либо короновать, либо объявить вне закона.

– Коля Самохин? – спросила директор и, не дождавшись моего ответа, строго повела бровью поочередно в стороны членов почетного караула. – Это очень хороший мальчик. Очень, оч-чень хороший.

При этом завуч, сняв очки и слегка наклонив голову набок, согласно кивнул носом, а пионервожатая, наоборот, как бы вздернула нос и тряхнула кудрями: дескать, а как же иначе – из наших ведь орлов!

– Это тебе, Коля, – сказала директор, подвигая на край стола высокую стопку учебников. – Бери.

Пионервожатая сорвалась с места, будто только и ждала этого момента, подхватила книги и стала совать их в мои руки.

– Бери, бери! – шептала она. – Что же ты?

Я неловко прижал к животу скособочившуюся стопку.

Пионервожатая отступила, и теперь они вместе с завучем одобрительно закивали мне и заулыбались. Наверное, я очень красивым и положительным выглядел вот так – с книгами в руках. В общем, они на меня любовались, а я, как дурак, торчал посреди кабинета, не зная, что же мне теперь делать.

Директор – поскольку процедура награждения закончилась – тоже, видать, не знала, что делать дальше, и вроде бы уже начала поглядывать на меня с досадой: долго ли, мол, он еще будет здесь переминаться? Наконец, взгляд ее остановился на моей стриженной голове.

– У тебя есть вошки? – спросила она.

– Нет, – потупился я.

– Ты можешь отпустить чубчик, – вздохнув, сказала директор.

Класс был потрясен моим неожиданным возвышением. Настолько, что никто из ребят не отважился и спросить, за какие такие подвиги я награжден. Полного комплекта учебников не имели у нас даже круглые отличники. Обычно одну «Арифметику» мусолили мы по очереди втроем или вчетвером. Получить же учебники на одного можно было только за особые заслуги перед школой, если не перед Отечеством. Все поэтому решили, наверное, что я какой-нибудь неизвестный, а теперь вдруг обнаруженный «Черемыш – брат героя», или сын полка, или, может, я задержал диверсанта, отвинчивающего рельсу на трамвайном маршруте Кузнецк – Болотная.

Отношение ко мне сразу изменилось. Староста класса Сережа Белоусов подошел на перемене и, как с равным, завел со мной светский разговор о коллекционировании марок. Он развернул свой альбомчик и показал разные необыкновенные марки, в том числе такие, которыми не прочь был поменяться. Марки были прекрасны, но, к сожалению, я ничего не мог предложить ему за них, кроме рогатки и того самого ножичка с обломанным лезвием, который так ловко утаил от Варвары Петровны.

А одна девочка даже прислала мне записку.

Была у нас в классе такая девочка – Инна Самусь – очень красивая, интеллигентная и, наверное, страшно умная, так как училась она исключительно на отлично. Эта Инна не то

чтобы воображала или зазнавалась, – она нас вообще, кажется, не замечала. Когда к ней обращались, смотрела своими большими и холодными глазами поверх головы, никогда ни с кем не разговаривала и только время от времени посылала записочки – тому, кого почему-то выделяла.

Вот и я вдруг получил записку: «Коля! Приходите в субботу ко мне на день рождения. Будут Сережа, Леня, Марик и Додик».

Короче говоря, к концу дня я уже и сам начал верить, что, может быть, нечаянно как-то совершил что-нибудь героическое. Я перебрал все свои последние подвиги и решительно остановился на одном, который мог иметь неожиданное продолжение. Как раз незадолго до этого, пробравшись в склад Алюминиевого завода, я срезал на грузила большой кусок свинца с электрического кабеля. Кабель этот вполне могли украсть потом диверсанты, чтобы при помощи его подорвать наш родной завод, алюминий с которого шел на строительство военных самолетов. А ток по заранее испорченному кабелю, конечно, не пошел – и завод уцелел. Те, кому положено, дознались, что это я помешал вредителям, и сообщили в школу. Но так как дело секретное, не велели никому говорить, за что награждается ученик такой-то.

...Вечером отец, стацив с одной ноги сапог, задумчиво пошевелил пальцами и вдруг спросил:

– Слухай... Толстомяся такая учительница, с крашеными губами, есть у вас?

– Полная, – поправил я.

– Ну да, полная, – согласился отец. – Такая, брат, полная – аж страшно.

– Это не учительница, это – директор, – сказал я.

– Ышь ты! – удивился отец и принялся за второй сапог.

Закончив разуваться, отец сказал:

– Да, может, надо было слупить с неё деньги, раз директор? Я думал – учительница.

– Какие деньги?

– Угля я ей вчера привозил, – объяснил отец.

Оказывается, накануне отец подрядился после работы отвезти два воза угля какой-то толстомясой женщине (он все же сказал – «толстомяся»). Женщина оказалась ничего – веселая. Отец ей сказал: «Вы уж на воз не садитесь, идите рядом, а то коням тяжело». А она рассмеялась: «Да, меня не на лошадях, меня на тракторе только возить!» – «Это смотря какой трактор», – сказал отец. В общем, пока они два рейса делали, пока то да сё, да тары-бары – отец понял из разговора, что толстомяся вроде как учительница. И когда она стала отдавать ему законные две тридцатки – не взял. «Считайте, – сказал отец, – что я вам так отвез, из уважения». Тогда эта женщина спросила отца, как его фамилия и не учится ли у него кто из детей в школе. Отец сказал, что учится сын – не то в третьем, не то в четвертом классе. Женщина опять рассмеялась: «Так всё-таки в каком же?» – «В четвертом вроде, – сказал отец. – А может, в третьем». – «Ну, ладно, я сама проверю, – пообещала женщина. – А папаша вы, я гляжу, неважный». – «Так точно – неважнецкий», – согласился отец... На том они и расстались.

Уже на середине отцовского рассказа я догадался, что в сумке у меня лежит его калым. И «оч-чень хорошим мальчиком» я признан за те же два воза угля. Я даже не полез в склад – проверять, на месте ли катушка с кабелем. Конечно, она была там. Диверсанты, небось, тоже не дураки – они могли, если надо, выбрать и целую катушку.

«Нажито махом – пролетит прахом», – говорила моя мать... Учебниками я попользовался всего два дня.

На третий день я открыл на уроке историю и углубился в рассматривание картинок. Учебник оказался необычным. Во всех других портреты врагов народа были густо замазаны чернилами, а в моем кто-то аккуратно заклеил их тонкой курительной бумагой. На одной из страничек бумага была чуть приотставшей с угла Я осторожно потянул за этот уголок.

Бумажка с легким потрескиванием отскочила, и я увидел строгого военного, с короткими ворошиловскими усиками и орденом на груди.

Я не успел прочесть фамилии под портретом.

Сбоку, сопя, ко мне придвинулся Эдька Яким.

Сзади задышал в затылок Катьш.

С передней парты, заинтересованный скрипом и сопением, повернулся Генка Колосков.

Варвара Петровна внезапно ударила на нас сверху, упала, как коршун в стайку цыплят.

Учебник истории оказался в ее руках.

Видимо, враг народа, таившийся под папиросной бумажкой, был очень страшный. Варвара Петровна онемела. У нее только стремительно расширились зрачки и затряслись губы. Она вдруг стала белой – белее мела. Потом – без перехода – красной – краснее чернил в ее пузырьке.

Так продолжалось несколько секунд. Затем Варвара Петровна развернулась и широким падающим шагом, как солдат, идущий на приступ, ринулась из класса.

Вернулась Варвара Петровна успокоенной: вошла нормальной своей походкой, в нормально сощуренных глазах ее поблескивала обычная злая усмешка.

Выстрел, разнесший в щепки корабль моего благополучия, прозвучал где-то там, в директорском кабинете, – и теперь ленивая волна, сыто урча, накатывалась, чтобы поглотить обломки.

Варвара Петровна молча достала из парты мою сумку и выгребла все остальные учебники.

Равновесие было восстановлено. Я не успел завести чубчик и остался в рядах стриженных, неласкаемых плебеев.

Пригласительную записку прекрасной Инны Самусь я возвратил авторше. Она приняла это как должное. Не удивилась, не дрогнула даже бровью. Устремив неподвижный взгляд мимо моей головы, взяла записку и небрежно сунула в карман фартучка.

Другого случая попасть в ряды примерных учеников мне не представилось, и в чубатые я вышел по возрасту, а не по привилегии.

Любовь: первая, вторая и так далее...

В этой главе я хочу рассказать о некоторых своих первых влюбленностях, но если какие-то другие события ненадолго увлекут меня в сторону от главной темы, я не стану хватать себя за руку.

В раннем детстве цыганка предсказала мне увлекательное и победоносное будущее. Дело происходило в переулке, между водокачкой и хлебным магазином. Там молодая красивая цыганка ворожила женщинам на мужей, ушедших на войну, а заодно погадала и мне, поскольку я оказался рядом. Так как взять с меня по малолетству было нечего, цыганка обошлась без обязательного вступления: «Позолоти ручку, красивый, – всю правду скажу: как тебя звать, как невесту, что будет девятнадцатого числа». Она погадала мне бесплатно и коротко. Просто схватила грязной рукой за подбородок и, полоснув сатанинским взглядом, сказала:

– Ай, черноглазый! Вырастешь большой – девушек обманывать будешь! Помни мои слова.

Я застенчиво шмыгнул носом, а женщины вокруг рассмеялись.

Предсказание это запало мне в голову. Я, конечно, догадался, что речь идет не о том обмане, которым мы уже тогда занимались каждый день: подойдя к знакомой девчонке, говорили: «Глянь, у тебя пуговица оторвалась», – и когда обманутая наклоняла голову, хватали ее за нос и тянули изо всех сил книзу. Нет, цыганка, скорее всего, имела в виду то, о чем у нас на улице женщины говорили, насмешливо поджимая губы: «Мотькин-то ухажер, а... Поматросил и бросил». Причем насмешка их, похоже было, адресовалась не бессовестному Мотькиному ухажеру, а самой простофиле Мотьке, не сумевшей удержать кавалера.

Значит, сообразил я, это я буду когда-нибудь – чернобровый и высокий, в хромовых сапогах гармошкой, с папироской в углу рта – поматросив, бросать девушек, а они, безнадежно влюбленные в меня, – чахнуть, увядать и, возможно, даже травиться уксусной эссенцией.

Предсказанию этому, однако, не суждено было исполниться. Цыганка ошиблась самым роковым образом. Не я девушек, а девушки стали обманывать меня, как только мои отношения с ними переросли стадию взаимного таскания за носы...

Первый раз я влюбился, когда мне было восемь лет.

Ей было девятнадцать лет. А может быть, двадцать.

Я до сих пор уверен, что другой такой девушки не существовало на нашей улице, в городе Старокузнецке, вообще – в окружающем меня мире. Да и не могло существовать, потому что Женя была из другого мира – веселого, нарядного, праздничного. Назывался её мир – Ленинград. В том мире жили красивые и сильные молодые парни. Они носили белые майки с воротничками, играли в футбол, наперебой дарили Жене цветы, катали её на лодках и угощали мороженым. Женя много раз рассказывала об этом моей матери.

Все в её мире было необыкновенным и ярким, как в кино. И сама Женя походила на артистку Ладынину из фильма «Трактористы». У нее были такие же короткие волосы, такие же большие смешливые глаза, полные губы и ямочки на щеках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.